

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

**ПО КОРЕЕ,
МАНЬЧЖУРИИ И
ЛЯОДУНСКОМУ
ПОЛУОСТРОВУ**

Николай Гарин-Михайловский

**По Корее, Маньчжурии и
Ляодунскому полуострову**

«Public Domain»

1898

Гарин-Михайловский Н. Г.

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову /
Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain», 1898

«С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву. Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы. Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Европу, обратно в Петербург...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	57
-----------------------------------	----

Николай Гарин-Михайловский

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову

Карандашом с натуры

9 июля 1898 г.

С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву.

Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы.

Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Европу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение – ознакомиться с производительностью мест между Владивостоком и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием вместе с своими товарищами принял это попутное для меня предложение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

11 июля

Сегодня Самара.

Опять неурожай, и мне сообщают печальные подробности. В общем ожидается такой же, как и 91 год.

Память о нем читаешь на испуганных лицах встречающихся крестьян.

Итоги урожая налицо: мелкорослые, чахоточные, занесенные пылью хлеба мелькают в окнах. Уже кое-где приступили к их уборке. Скоро кончится жатва, и потянется длинная пустая осень среди черных полей. Кончится осень, и белым саваном покроется земля. Там, за сугробами снега, исчезнут все эти испуганные крестьянские лица, будут сидеть там, в своих задымленных логовищах, в смраде и голоде, до тех дней, когда снова растворятся ворота мастерской, когда снова они, оголодалые, истощенные и изнуренные, с такой же скотиной, примутся опять, за свое пустое дело.

«Пустое дело» – слова теперешнего моего соседа, одного местного деятеля.

Он говорит, как заученный и в то же время намозоливший ему самому язык урок.

– Мировые конкуренты сбили цены, – в урожайный год хлеб не оправдывает больше расходов примитивного производства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий, втридорога обходится доставляемый хлеб... Все так ясно, и кто этого не знает? Мы теперь ведь всё знаем...

С размаху останавливается поезд у станции, мой сосед озабоченно вскакивает, и, стоя у окна своего вагона, я уже вижу его сгорбленную фигуру на станционном дворе, у плетушки.

Дальше мчится поезд, и опять поля, – изможденные, чахлые, как больной в последнем градусе чахотки.

13 июля

В окне вагона Уфимская губерния, с ее грандиозными работами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрезани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала.

В этой мгlistой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их, прячется фанатик отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запрятанные в дебрях делатели фальшивых денег положили основание многим крупным состояниям, получая сами в награду всегда смерть, – от ножа ли, от удара ли топором сзади, или во сне, а то дверь одинокой кельи, – мастерская несчастного мастера, – подопрут снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

– О, какой перекося! О, как страшно! А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже этой дороги я не знаю... А вот на ровном месте зачем понадобились все эти извороты... мошенничество очевидное, чтоб больше верст вышло... Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст... понимаете? Ужасно, ужасно...

– Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

– Вы, вероятно, тоже инженер?

– Д-да.

Веселый смех.

Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы рек... Смиряться камнем и цементом окованные реки, – не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса – в долинах ободранные от коры береза и липа, на горах – сосна и лиственница; те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.

Башкиры смущенно говорят:

– Наши леса...

– Ваши, так почему же, – раздраженно возражают им крестьяне, – казенные полесовщики?

– Чтоб никто не воровал, – отвечают не совсем уверенно башкиры.

– Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и жулики... Палец об палец не ударят: «я дворянин», а свести лошадь да в котле сварить – первое его дворянское дело, сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

– Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» – Ну, снимай еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

– Дорого?

– Да ведь как придется... Уж, конечно, за пять лет вперед больше двугривенного на десятину не приходится платить.

Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.

– Худо же ведь нет, – говорю я ему.

Усмехается довольно:

– Да ведь не было б, коли б другой народ был...

– Вас-то, русских, много теперь?

– Пятсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева донимают...

– Выморите ведь их скоро, – утешаю я.

– Дай бог скорее, – смеется крестьянин, смеются другие, окружившие нас крестьяне.

– А я вот слышал, – говорю я, – что у башкир землю отберут и из вас и башкир одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

– Бог с ней и с землей тогда: уйдем... От своих ушли, а уж на башкир еще не заставят работать... Уйдем, свет за очи уйдем...

– Но ведь башкиры тоже люди...

– Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на барина и на нашу бедноту поработали, – пора и честь знать. В этой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе из кабака не выйдет.

– Хоть путный, хоть беспутный, – деловито перебивает другой, – а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запречь, а он с одной клячей – толков не будет... Хуже да хуже только и будет... Кнizu пойдет. Он те одной пашней загадит землю так, что без голоду голод выйдет... земля как жена – по рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пустое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башкиры, кто говорит... Все люди, да не всякий к земле годится. У другого топор сам ходит, а я вот, золотом меня засыпь – не столяр, хоть ты что.

– Это можно понять, – уткнувшись в землю, поясняет третий.

– Вы вот здесь так говорите, – отвечаю я, – а в России скажи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать участки, – я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин неопределенных лет, нос кверху, Василий, задорно тряхнул кудрями:

– Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит – также уйдешь... Нас погнало... Тридцать лет за землю платили, – кому досталось? На обзаведенье пригодились бы теперь денежки наши... кровные денежки от детей отнимали, а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слыхал еще таких речей, там пока только меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная суета».

15 июля

Все дальше и дальше. Вот и Сибирь... Челябинск...

Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 91 году, когда только производились изыскания.

Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь, – полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об исправнике, который, скупив у киргиз ветер, продавал киргизам же его за большие деньги (не позволяя везть хлеб, молоть его на ветрянках и проч. и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.

Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последнему колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь: уехать тридцать верст в сутки была идеалом.

Надвигалась голодная зима 91 года, и деревня за деревней, которые мы проезжали, стояли наполовину с заколоченными избами; это избы разбежавшихся во все концы света от голодной смерти людей.

Редкий крестьянин, торчащий тогда у своих ворот, имел жалкий, растерянный вид, провожая пустыми глазами нас, последних путников.

Один растерянно подошел к нашему экипажу, когда мы выезжали из грязной околицы его деревушки.

– А вы постойте-ка... – Мы остановились. – Вы чиновники? Это что ж такое?

Так и замер этот крик, вопль, стон в невылазных лужах далекой Сибири.

Им не привозили хлеба – это факт. Нечем было везти за сотни и тысячи верст. Подохла скотина от бескормицы, и на оставшихся в живых, никуда не отшатившихся мужиках и бабах пахали они весной свою землю.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчимся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-библиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечатление утомительного при других условиях железнодорожного пути. Тогда, при проектировке только дороги, едва-едва натягивали одиннадцать миллионов пудов возможного груза. Так и строили, в уверенности, что не скоро еще дойдет дело до этих одиннадцати миллионов пудов.

И в первый же год тридцать миллионов пудов.

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой – несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совершенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще не перевезенного груза в одном Челябинске.

15 июля

Все та же ровная, как ладонь, степь, прямая по сто пятьдесят верст, вода отвратительная до самой Оби. До Омска солено-горькая, в Барабинской степи – родина сибирской язвы – отвратительная на вкус и запах.

Там и сям, около станций, уже видны поселки переселенцев. Конечно, пройди дорога южнее верст на двести, она захватила бы более производительный район, и в эти два-три года там эти поселки успели бы уже разрастись в большие села.

Здесь же только сравнительно узкая полоса кое-где годна под посевы, все остальное, налево к северу – тайга и тундры, направо верст на сто – солончак и соляные озера.

Вот и Омск с мутным Иртышом.

Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим местам.

Помню этот бесконечный переезд к северу, вниз по течению Иртыша.

Иртыш серый, холодный, весь в мелях. Ночи осенние, темные. Пароход грязный, маленький.

На его носу однообразно выкрикивает матрос, измеряющий глубину:

– Четыре! Три с половиной! Три!..

И команда в рупор:

– Тихий ход.

– Два с половиной!

– Самый тихий ход.

– Два с половиной... Три... Пять!.. Не маячит!.. Не маячит!..

– Полный ход.

– Два?!

– Самый тихий ход.

Поздно: пароход уже врезался с размаху в неожиданную мель, мы уже стукнулись все лбами и будем опять сидеть несколько часов, пока снимемся.

Мрачный контролер, наш тогдашний спутник, когда и водка вышла, упал совершенно духом и не хотел выходить из своей каюты.

– Сибирь ведь это, – звали его на палубу, – сейчас будем проезжать место, где утонул Ермак.

– Какая Сибирь, – мрачно твердил контролер, – и кого покорял здесь Ермак, когда и теперь здесь ни одной живой души нет.

И чем дальше, тем пустыннее и печальнее этот Иртыш, а там, при слиянии его с Обью, это уже целое море мутной воды, в топких тундрах того, что будет землей только в последующий геологический период.

Там и в июне еще голы деревья, там вечное дыхание Ледовитого океана.

Иные картины встают в голове, когда вспоминается Иртыш к югу от Омска.

Частые, богатые станицы зажиточных иртышских казаков. Беленькие домики, чистенькие, как зеркало, комнатки, устланные половиками, с расписанными печами и дверями. Рослый красивый народ, крепкий патриархальный быт. Чувствуется сила, мощь, веет патриархальной стариной, своеобразной свободой и равенством среди казаков.

Здесь юг, и яркие краски юга чувствуются даже зимой, когда земля покрыта снегом.

Что это за яркий снег и какими переливами играет он, когда солнце начинает спускаться с безбрежно голубого неба к своему закату.

Тогда снежная даль отливает всеми цветами радуги: там она нежно-лиловая, здесь зеленоватая, где выступает жнива – окраска золота. К северу потянулись холодные голубоватые тона и стальными переливами на горизонте напоминают уже безбрежную поверхность какого-то оледеневшего моря. К западу еще богаче краски, еще ярче подчеркивают красоту неба и земли. Небо кажется выше, и весь купол его, вылитый из лазури, наполнен искорками яркого света – золотистыми, бирюзовыми, нежно-прозрачными.

Со скоростью двадцати четырех верст в час, по ровной, как скатерть, дороге мчит вас тройка, хотя и мелкокорслых, но поразительно выносливых лошадей. Звон колокольчика сливается в какой-то сплошной гул. Этот гул разливается в морозном свежем воздухе и уже несется откуда-то издалека назад, напевая какие-то нежные, забытые песни, нагоняя сладкую дрему. Иногда разбудит вдруг обычный дикий вопль киргиза-ямщика, с головой, одетой в характерную цветную меховую шапку, с широким хвостом сзади, – откроешь глаза и не сразу сообразишь и вспомнишь, что это иртышских казаков сторона, что старается на облучке работник казака – киргиз.

Туда, к Каркалинску, там сам киргиз хозяин.

Там вгоняют в хомуты (надо ездить с своими хомутами, у киргизов их нет) совершенно необъезженных лошадей, вгоняют толпой, с диким рычаньем, наводящим звериный страх на лошадей, и, когда дрожащие, с прижатыми ушами, лошади готовы, вся толпа издает сразу резкий, пронзительный вопль. Ошеломленные кони мнутя на месте, взвывают на дыбы, рвутся сперва в стороны и, наконец, всё оглушаемые воплями, стрелой вылетают в единственный, оставляемый им среди толпы проход по прямому направлению к следующему кочевью.

Так и мчатся они по прямой линии, ни на мгновение не замедляя ход, а тем более не останавливаясь.

Раз стали, – конец, надо новых лошадей.

Будь овраги, горы, и гибель с такими лошадьми неизбежна, но худосочная, солончаковатая степь ровна, как стол, и нет опасности опрокинуться.

Хлебородна только полоса верст в пятнадцать у Иртыша, вся принадлежащая казакам.

Эта земля да киргизы – все основание экономического благосостояния казака. Земля хорошо родит, киргиз за бесценок обрабатывает ее.

Зависимость киргиза от казака полная.

И казак, не хуже англичанина, умеет соки выжимать из инородца. Но казак ленивее англичанина, он сибарит, не желает новшеств.

Казак здесь тот же помещик, а киргиз его крепостной, получающий от своего барина хлеб и работу.

Киргиз при казаке забит, робок и больше похож на домашнее животное.

Очень полезное животное при этом, и не для одного только казака, так как без киргиза эти солончаковатые, никуда не годные степи пропали бы для человечества, тогда как киргиз разводит там миллионы скота и не только всю жизнь свою там проводит, но и любит всей душой свою дикую голодную родину.

Один киргиз, ездивший на коронацию, говорил мне:

– Много видал я городов, и земли, и людей, а лучше наших мест что-то нигде не нашел.

Зимой киргизы перекочевывают ближе к населенной казаками полосе и строят там свои временные, из земляного кирпича, юрты-зимовки.

Скот же пасется на подножном корму, отрывая его ногами из-под снега.

В юртах темно, сыро, дымно и холодно. Есть, впрочем, и богатые юрты, сделанные срубами без крыш, устланные внутри коврами, увешанные одеждами и звериными шкурами.

Иногда ряд юрт-зимовок составляет целое село-зимовье.

С первыми лучами весеннего солнца киргиз со своим скотом и запасами хлеба откочевывает в степь, вплоть до китайской и даже за китайскую границу.

Часть же мужского населения отправляется на все лето на звериную охоту, в горы.

Отправляются без всякой провизии, с своими ножами, ружьями и стрелами.

Там они едят зверей, неделями обходятся без воды, а к зиме уцелевшие возвращаются домой, со шкурами оленей, медведей, коз, изюбров, а иногда и тигров.

Киргизы большие мастера по части насечки из серебра, и учителя их – сарты, от которых и заимствована вся киргизская культура.

Киргиз высок, строен, добродушен и красив.

Темное лицо и жгучие глаза производят сначала обманчивое впечатление людей, легко воспламеняющихся.

Но загораются они легко только в пьяном состоянии, и пьянство, к сожалению, становится довольно распространенным между ними пороком.

Прошлая зима 1897-1898 года для киргиза была особенно тяжелой: выпало много снега, и скот не мог доставать себе корма.

– У кого было четыреста голов, осталось сорок.

Совершенно опять новую картину представляет местность от Семипалатинска к Томску.

Это – кабинетские земли, до 40 миллионов десятин.

Земля здесь сказочно плодородна. Урожай в 250 пудов с десятины (2400 кв. саж.) – только хороший.

Качество пшеницы выше самых высоких сортов самарской.

Там, южнее, еще выше сорта могут произрастать, но, за отсутствием железной дороги, продажная цена такой пшеницы – 8 копеек за пуд, что даже при урожае в 300 пудов не оправдывает расходов производства.

Не только пшеница, лен, подсолнух, здесь произрастает рис, и цена его здесь 45 копеек за пуд, в то время как у нас он 3, 4, 6 рублей пуд.

Несомненно, что с проведением здесь железной дороги все эти миллионы десятин, теперь праздно лежащих, наводнили бы и рисом, и масличными продуктами, и хлопком мировой рынок, и из Туркестанского края и этого создалась бы одна из самых цветущих колоний мира.

На кабинетских землях живут кабинетские крестьяне.

Они имеют 15 десятин на душу; могут еще арендовать до 50 десятин, по 20-30 копеек за десятину.

Живут очень зажиточно, но тип крестьян иной, чем соседи их, иртышские казаки. Казак не торопится гнуть свою спину, в то время как здешний крестьянин и не ленится кланяться, и не скупится величать проезжающих «ваше превосходительство».

Как киргиз у иртышских казаков, так здесь беглые каторжники являются главным подспорьем их зажиточности.

Каторжник по преимуществу бежит сюда и живет здесь, по местному выражению, как в саду.

Житье, впрочем, мало завидное: зимой на задах где-нибудь, в банях. Летом на свежем воздухе, в тяжелой, очень плохо оплачиваемой работе.

Отношение к этим беглым, как к полулюдям: с одной стороны, конечно, люди – «несчастные», но с другой – живи себе там в лесу или бане, но в избу не смей порога переступить, не смей с бабой слова сказать и т. д.

Достаточно посмотреть на белье этих несчастных; оно всегда черно, как земля, и с отвратительным запахом.

Где-то, между Барнаулом и Томском, живет в глуши какой-то крестьянин.

Ежегодно в день благовещенья, 25 марта, он раздает этим беглым хлеб и разные вещи.

Говорят, в этот день приходят к нему, этому крестьянину, за сотни верст несколько тысяч бродяг.

Они получают кто рубаху, кто шарф, кто сапоги, кто пуд-два хлеба.

Очевидно, из-за этого одного, за сотни верст, рискуя замерзнуть или попасться в руки правосудия, не пошли бы эти холодные, голодные, передвигающиеся только ночью, а дни проводящие где-нибудь на задах или в банях, если пустят.

Тянет этот обездоленный люд ласка этого жертвователя, видящего в них таких же, как и он, людей, тянет свидеться друг с другом и узнать все новости таежной жизни.

Как-то раз я проезжал здесь перед благовещением, и ямщики наотрез отказались везти меня ночью:

– Никак нельзя: ни узды, ни креста нет на нем, – как-никак, бродяжка, бродяжка и есть.

Я знаком с этими темными фигурами бывшего большого сибирского тракта.

По два, по три бредут они, сгорбленные, с котомкой за плечами, с чайником, с громадной сучковатой палкой.

То стоит и смотрит на вас, а то вдруг неожиданно покажется из лесной чащи.

В блеске солнца и веселого дня он вызывает сожаление, и ямщик, вздыхая, говорит:

– Несчастливая душа.

Но ночью страшна его темная фигура, и рассказы ямщика об их проделках рисуют уже не человека, а зверя и самого страшного – человека, потерявшего себя.

И сколько их стоят и смотрят – темные точки на светлом фоне, загадочные иероглифы Сибири.

«Да-с, батюшка, – вспоминаю я слова одного сибиряка, – надо знать и понимать Сибирь. Во многих футлярах она: казенная, чиновничья Сибирь, купеческая, крестьянская, инородческая, переселенческая и раскольничья и глубже и глубже, до самой коренной, бродяжнической Сибири. Вот она какая, эта вольная, неделенная Сибирь. И что в ней, в самой коренной, того никто еще не знает и не ведает, и если б нашелся человек, который поведал бы да смог бы рассказать о том, что там, тогда бы только узнали, где предел силе и мученичеству русского человека, какими страданиями и горем вынашивает он любовь свою к волеволюшке вековечной».

Кабинетская земля граничит с Алтаем, и, когда едешь из Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба. В нем новые сказочные богатства – богатства гор: золото, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь вследствие отсутствия капиталов, железных дорог все спит или принижено, захваченное бессильными и неискусными руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старой – новая жизнь.

16 июля

Низко нависли тучи, заходящее солнце придавлено ими и, словно из пещеры, ярко смотрит оттуда тревожно своим огненным глазом. Несколько отдельных деревьев залиты

багровыми лучами, и далекая тень от них и от туч заволакивает землю преждевременной мглой.

Напряженная тишина.

Какое-то проклятое место, где низко небо, низки деревья, где словно чувствуется какое-то преступление.

Это Каинск.

Население его почти всё ссыльные. И ремесло странное. Говорят, в какой-то статистике, в рубрике «чем занимаются жители», против Каинска стоит отметка «воровством».

Несомненно, что и до сих пор часть ссыльного населения города Каинска исключительно занимается тем, что, отправляясь в Томск, заявляет о себе. Из Томска такого сейчас же отправляют обратно в Каинск, выдавая, по положению, ему халат, одежду, сапоги... За все это можно выручить пятнадцать-двадцать рублей. Несколько таких путешествий, и человек на год обеспечен. Зато местные крестьяне, на обязанности которых лежит везти таких обратно, в Каинск, и конвоирующие солдаты ненавидят ссыльных.

Еще бы: они сидят на возах, а жалеющие своих лошадей крестьяне и солдатики, при своих ружьях и ранцах, все время маршируют возле, пешком.

17 июля

Река Обь, село Кривошеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку.

На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива – у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки – двенадцать верст, а здесь – четыреста сажен.

Изменение первоначального проекта – моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена.

Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 91 году поселок, называвшийся Новой Деревней. Теперь это уж целый городок, и я уже не вижу среди его обитателей прежней кучки смиренных, мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.

Местность взволновалась, покрылась лесом и глубокими падами (оврагами), повалилась вдаль, открывая глазу беспредельные горизонты.

Здесь и тайга, и пахотные места (гривы), государственная земля и общественники-крестьяне.

Села зажиточные, но грязные. В избах гнутая мебель, цветы, особенно герань; всякая баба приготовит вам и вкусные щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и умеют готовить. Но не обижайтесь, если рядом с стерлядью очутится и черный таракан, а то и клоп, которых множество здесь и которые особенно любят (или не любят?) иностранцев.

Не обижайтесь, если летом, кроме клопов, вас заедят комары, слепни, овода, мошкара – все, что называется здесь «гнусом», зимой 50-градусный мороз отморозит вам нос, а ночью нападут бродяги.

Так и говорят здесь сибиряки:

– Три греха у нас: гнус, мороз и бродяжка.

Все остальное хорошо:

– Пашем – не видим друг дружку, косим – не слышим, мясо каждый день.

Здешний сибиряк не знает даже слова «барин», почти никогда не видит чиновника, и нередко ямщик, получив хорошо «на водку», в знак удовольствия протягивает вам, для пожатия, свою руку.

Здесь нет киргиза, не прививается к оседлости бродяжка, и место их в экономической жизни местного населения заменяет свой же брат победнее, и эксплуатация бедного богатым здесь такая же, как и везде.

Иногда бедные уходят на заработки, а богатые скупают их участки, платя им гроши за это.

В общем же все-таки, и это несомненный факт, что отношение к беднякам здесь неизмеримо более гуманное, чем в русских деревнях, и благотворительность в Сибири крупная.

Что до отвратительных сцен грабежа, – попавшего ли в лапы мира бедняка, осиротевшей ли матери семейства, у которой, за долги миру покойного мужа, отнимают все, несмотря на то, что земля, за которую покойный всю жизнь выплачивал, поступает тому же миру, – то здесь, в Сибири, и помину о них нет.

Это и понятно: оголодалые волки злее рвут.

Другое дело – задетое самолюбие, и здесь сибирский мир не уступит русскому: выскочку, талантливого ли человека заест так же, как и русский, без сожаления и остатка.

В последнее время распорядки пошли иные, и богатеи угрюмо ворчат:

– Доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет.

Вообще о России осталось впечатление сбивчивое.

Говорят с уважением:

– Расейский плуг, расейский пахарь...

А, поджав руки, баба кричит мне:

– А что в глупой Расеи умного может быть?

Впрочем, что до баб, то отношение к ним тоже смешанное: иные хозяева иначе не называют своих домочадцев – женщин, как средним родом: «женское», но в то же время говорят «вы».

– Женское, насыпьте чаю!

– Женское, плесните гостю!

Насыпьте – налейте, плесните – дайте умыться.

18 июля

Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.

Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения магистрали, если бы она прошла через Томск. При таких условиях, принимая во внимание транзитное значение Сибирской дороги, не было никаких оснований заставлять пробегать транзитные грузы лишних сто двадцать – сто пятьдесят верст.

Основное правило идеальной дороги – кратчайшее расстояние и минимальные уклоны.

В этом отношении – образец, как это ни странно, наша первая Николаевская железная дорога.

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казанское общество дошло в этом отношении до обратного идеала, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лишних двести верст.

19 июля

Средне-Сибирской железной дороге делают упреки за то, что она с крутыми уклонами.

Это, конечно, большой недостаток, но не надо забывать, что такие уклоны допущены только для скорейшей прокладки железнодорожного пути.

А затем неизбежно будет сейчас же приступить к дополнительным работам по уменьшению этих уклонов.

Последние знакомые еще мне места.

Коренная тайга, напоминающая хлам старого скряги, гиганты-деревья, поросшие мохом, лежат на земле, тонкая же непролазная чаща, давя друг друга, тянется кверху: сухая уже там, вверху и подгнившая от стоялого болота здесь, внизу: запах сырости и гнили.

Но ближе к сухим пригоркам попадаетесь поразительной красоты лес, ушедший вершинами далеко в небо. Желтые стволы сосен, там вверху заломившие, как руки, свои ветви. Нежная лиственница с своим серебряным, стройным стволом. Могучий кедр темно-зеленый, пушистый. Целая куртина нарядных кедров: больших, стройно поднявшихся кверху, маленьких, как дети, окружившие своих отцов. Между ними сочная мурава, и яркие солнечные пятна на ней, и аромат, настой аромата в неподвижном, млеющем воздухе. Поднимешь голову и, где-то там, в беспредельной высоте, видишь над собой кусочек яркого голубого неба. Все притихло и спит в веселом дне. Но треск ветки гулким эхом разбудит вдруг праздничную тишину, и проснется все: какой-то зверек прошмыгнет, отзовется редкая птица, а то, ломая сухие побеги, прокатит и сам хозяин здешних мест – косопалый, проворный и громадный мишка.

А то зашумит иногда там, вверху, как море в бурю, тайга, но по-прежнему все тихо внизу.

22 июля

До Иркутска мы не доехали по железной дороге всего семьдесят две версты, хотя путь уже и был уложен до самого города. Но приходилось ждать поезда до утра, и мы решили проехать это пространство на лошадях.

За это мы и были наказаны, потому что ехали эти семьдесят две версты ровно сутки, без сна, на отвратительных перекладных, платя за каждую тройку по сорок пять рублей... На эти деньги по железной дороге в первом классе мы сделали бы свыше трех тысяч верст.

А впереди таких верст на лошадях свыше тысячи: если так будем ехать, когда приедем, и что это будет стоить?

В Иркутске мы останавливаемся на два дня, так как для такой большой лошадиной дороги, какая предстоит нам, надо запастись многим: экипажи, телеги, провизию.

Иркутск, третий большой сибирский город, который я вижу. Первый, несколько лет тому назад, я увидел Томск, и он произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление: вся Сибирь представлялась тогда каким-то адом мне, а Томск, через который я вступал в Сибирь, достойным входом с дантовской надписью: *lasciate ogni speranza...*¹

Когда я поделился этим впечатлением с одним своим приятелем, он сказал:

– Слишком громко для Томска и Сибири, – просто российская живодерня.

Помню это ужасное, с казарменными коридорами и висячими замками на дверях номеров, «Сибирское подворье», эти домики с маленькими окнами и дверями, которые и летом имеют такой же нахлобученный вид, как и зимой, когда снег засыпает их крыши.

В девять часов вечера уже весь город спит, темно на улицах, и спущены собаки с цепей.

Обыватель, погрязший в расчетах, прозаичный, некультурный, ничем посторонним, кроме вина, еды и карт, не интересующийся. Сплетни, как в самом захолустном городке.

Развлечений никаких; везде грязь; молодецкие рассказы о похождениях исправников и становых; торговля краденым золотом и всякой гнилью московской залежи.

¹ оставь надежду навсегда... (итал.)

Словом, за две недели жизни в Томске тогда я так истосковался, что, когда выехал, наконец, из него и увидел опять поля, леса, небо, я вздохнул, как человек, вдруг вспомнивший в минуту невзгоды, что наверно за этой невзгодой, как за ночью день, придет и радость.

Эта радость заключалась в том, что я больше не в Томске и, вероятно, никогда больше не увижу его.

Может быть, этому скверному впечатлению содействовало и то, что все время я был под тяжелым впечатлением нападок местной прессы на меня, за обход Томска.

Другой большой город Сибири – Омск, я увидел, возвращаясь в Россию, и своим открытым видом, широкими улицами он очень понравился мне.

Впрочем, здесь тоже нужно сделать оговорку: я возвращался в Россию.

Один мой приятель, наоборот – попал в Сибирь через Омск и возвратился в Россию через Томск. Омск ему очень не понравился, а Томск произвел очень хорошее впечатление.

Что до Иркутска, то это такой же городок в шубе, как и все сибирские города.

Маленькие здания, деревянные панели, деревянные дома, грязные бани и еще более грязные гостиницы с их нечистоплотной до последнего прислугой.

Из интеллигентного кружка города видел только П. (остальные вследствие лета в разъезде), который и показал нам интеллигентную работу города: музей, детский приют.

Вопрос, занимающий теперь жителей Иркутска: останется ли у них генерал-губернаторство.

Ввиду теперешнего, уже не окраинного положения генерал-губернаторства прежнее его значение несомненно утратилось.

25 июля. Озеро Байкал

Выехали из Иркутска. Тянемся, как на волах. Железная дорога кончилась, а с ней сразу, как ножом отрезало и от всех удобств. Почтовые станции не в состоянии удовлетворять и третьей части предъявляемых к ним требований.

Ожидающие очереди пассажиры всех видов и оттенков.

Вот сидит купеческая семья: он, она и несколько подростков детей, – сидят, пьют чай с горя, в ожидании. Напряжение на детских лицах. Маленький ребенок, с заботой взрослого в глазах. Единственный выход – двигаться дальше на вольных. Но и их скоро не сыщешь: сенокос. За перегон в двадцать верст – пять – десять рублей, то есть в пятьдесят раз дороже, что по железной дороге. А сколько времени пропадает: два часа ищут, два запрягают, два едут, и опять такая же история. В результате скорость три версты в час, а на все сутки и того меньше, потому что дни и недели в дороге нельзя же проводить совсем без сна.

Переехав Байкал, разбились на два отряда: Б. и С. уехали, а я, К. и А. сидим и ждем лошадей.

Темный вечер. Монотонно и однообразно барабанит в окна мелкий осенний дождик. Все небо обложено сплошными низкими тучами. В памяти встают картинки пережитого дня. В общем, впрочем, бедные и несодержательные. Многого ждали от Байкальского озера – говорят о его бурях, таинственных волнениях без ветра, объясняя их вулканическими или иными подземными причинами; но при нашем переезде озеро было тихо, был туман, шел дождь, и впечатление от переезда через Байкал получилось не большее, как от переезда на пароме через любую холодную лужу-реку.

В каюте дрянного парохода, или, вернее, в черный цвет окрашенной баржи, холодно и сыро, как в подмоченном погребе, тускло освещенном верхним окошечком.

Вода в Байкале с постоянной температурой около двенадцати градусов. Такая же температура и в красивой Ангаре, вытекающей из него, вдоль которой вчера всю ночь мы ехали.

Красивая, но холодная, с своими ледяными туманами. Каждый раз, как спускались к ней, нас обдавало туманным холодом глубокой осени. Иногда часть реки обнажалась и ярко

сверкала, но остальная река и крутой противоположный берег, поросший лесом, все время были окутаны облаками непроницаемого тумана. Молчаливо, быстро несет река свои зеленовато-прозрачные воды.

Пустынно: поросшие лесом косогоры, никаких посевов, селения редки, малонаселенные, с нищенскими постройками. Среди жителей много сосланных с Кавказа.

И холод севера не охлаждает этих южан: бьют, режут друг друга и чужих. Самые сильные разбои и грабежи всегда дело их рук, и другие народности только их неискусные ученики.

Физиономии нехорошие: рассказов много об их делах, – не только, впрочем, о кавказцах, – все Забайкалье кишит теперь всяким бродячим народом.

Железнодорожные работы подходят к концу, приближается зима, денег нет, нет жилья и крова, и идет сплошная облава по большим дорогам.

Ценности жизни – никакой.

Топором рассекает головы трем за то только, что те улеглись на его полушубке.

На днях повешенный здесь разбойник, Бен-Оглы, поражал своими цинично равнодушными ответами на суде и, наконец, заявил, что и таких не намерен больше давать.

Спит душа, и не человек, а зверь, самый страшный из всех, рыскает здесь по этой трущобе.

Плохо и местному населению: у них голод, и пуд овса доходит до двух рублей, сено до рубля восьмидесяти копеек.

Мы слушаем рассказы из местной жизни, а дождь льет и льет.

Мы в номере: столик, кровать, два деревянных стула. Я сижу и думаю, как остроумно я распорядился. В вагоне было жарко, и вот теплые вещи я отправил с багажом, а теперь на дворе холод и дождь. В своих прюнелевых ботинках и с кушаком вместо жилета – хорош я буду. С багажом же уехало и оружие мое, бог весть для чего купленное, обычная, впрочем, судьба таких моих покупок. Потом я все это раздарю. Бекиру подарю карабинку Маузера.

Бекир – кавказец, – наш слуга. Он был сперва в восторге от встречи с своими здесь. Радостно удивлялся и говорил:

– Всё земляки и близко от нашей деревни.

При его протекции эти земляки вздули нас самым безбожным образом: за провоз шестидесяти верст на шести тройках взяли сто двадцать рублей, под всякими предлогами выудили еще пятнадцать рублей, пользуясь моим отсутствием, сорвали еще семь рублей, всучили за тридцать рублей уже поломанную телегу, стащили купленную для экипажей мазь, и, если б мы не уехали, наконец, на пароходе, то, вероятно, не отпустили бы нас до тех пор, пока брать было бы нечего.

При всем желании быть терпимыми, мы все разочаровались в здешних восточных людях. Один Бекир еще отстаивал их. Но они умудрились и у Бекира стащить его узел с револьвером. Узел и вещи – пустяки, но с потерей револьвера Бекир не мог примириться.

– Двенадцать лет, – твердил он, – двенадцать лет. Я пристрелял его к себе, я знаю его, как себя...

И как ни отговаривали мы его, он уехал назад за своим револьвером, с тем, чтобы нагнать нас где-нибудь.

Глаза Бекира мечут искры, и кто знает, чем кончится у них там. Я предсказывал ему худой конец, но он твердил одно:

– Мне только револьвер...

2 августа

Вот и Сретенск.

Сретенск – что такое Сретенск? Сретенск – село на одной параллели с Харьковом, на реке Шилке, Шилка впадает в Амур и т. д. Утро. Тихо и ясно. Я сижу в тени террасы; не смущайтесь названием, – терраса простая, сколоченная из леса, под тон всей остальной простой и деревянной сибирской архитектуре.

В нескольких саженях от меня пристань амурского пароходства, и в настоящую минуту снизу ползет пассажирский пароход: род арестантской барки, с красным колесом сзади; он пытит и шумит, плохо подвигается вперед.

А на той стороне, в тесноте, между нависшими камнями надвинувшихся холмов, видны здания железнодорожной станции.

Самого Сретенского еще не видел и даже не справлялся в календаре о значении и истории его.

Мы в гостинице «Вокзал». Привезли нас в эту гостиницу ночью, после тысячи верст перекладных, и мы моментально уснули на грязных донельзя матрацах.

И. Н. осведомился у прислуживавшего бойкого мальчугана:

– Клопов хватит на каждого?

Подмываемый ласковым тоном, мальчик фыркнул и в тон, лукаво, ответил:

– Хватит...

Засыпая, я думал: какой в сущности грязный и неопрятный народ мы, русские.

Чуть выедешь из Петербурга или Москвы, и уже начинается эта непролазная грязь везде: и в роскошных вагонах первого класса, и в залитых отвратительной карболкой третьего, и на станциях, и в городах во всех этих гостиницах.

Иркутск – большой город, столица Восточной Сибири, а какая грязь, опущенность в лучшей из ее гостиниц, «Деко». А Чита? Теперь этот «Вокзал»? А в избах крестьян, несмотря на цветы, ковры, гнутую мебель?

Во дворах вонь, и негде в селах вздохнуть свежим воздухом.

Но эта же баба, которая вытащила только что из вашего стакана таракана, обтирая палец о свой пропитанный салом сарафан, с пренебрежительным выражением лица говорит об аборигенах здешних мест, бурятах:

– Грязно живут... Падаль у них первое блюдо... Вот от язвы лошадь и скот валятся – жрут. Другая собака рыло отвернет, а ему все бог дал...

Перед падалью, конечно, и клоп и таракан – идеал гигиены. И. Н. говорит:

– Я раз как-то студентом от нечего делать в одной деревне начал практиковать, а по воскресеньям публичные лекции читать...

– С разрешения?

– Кто бы мне позволил? Без всякого, конечно, разрешения. Приходит баба: нога, вот! Оказывается, порезала и лечила жженым навозом да навозной жижей – это у них первое лекарство – ну, вздуло, конечно: во. И заметьте, к фельдшеру ходила, и фельдшер ей хорошее лекарство прописал, – бросила лекарство, и вот свой способ. Я отказался ее лечить. Что ж лечить такую? Все равно не послушает. Как раз в это же время одна девочка тоже порезала ногу, и в три дня я залечил ее рану. Приходит воскресенье. На лекции и девчонка и баба с своей вот такой ногой... «Вот, говорю, смотрите, господа, лечение навозной жижей и чистой водой». Ну, факт налицо. «Известно, говорят, что вода чистая, что грязь... Дура баба...» Сами же ругают. Баба оправдывается: «Так мы ведь откуда знаем, теперь вот сказал...» Приходит опять на другой день: «Лечи». То-то. Сейчас чик-чик, прорезал, обмыл, чистой тряпочкой перевязал, присыпал слегка йодоформом – через неделю опять человеком стала.

И. Н. еще говорит, но я уснул, как убитый, без слов, движенья.

Я не могу сказать, чтобы не было у меня впечатлений в этот переезд на лошадях от Иркутска до Сретенска, но на перекладных нельзя их записывать.

Теперь сижу и вспоминаю.

Забайкалье резко отличается от всего предыдущего. На вашем горизонте почти везде хребты гор. Высота их колеблется между 50 и 200 саженьями. Вернее, это еще холмы, но уже с острыми, иззубренными иногда вершинами. Они так и застыли, неподвижные, при закате розово- и фиолето-прозрачные, а всегда темно-синие, далекие, рассказывающие вам сказки из далекого прошлого.

Да, эта необъятная, малонаселенная местность, с плохой почвой, с богатейшим листовым лесом, пораженным безнадежным червем (все, что видел глаз, на две трети уже посохшие, никуда не годные, дырявые деревья), хранящая в своих землях много минеральных богатств, но пока, с точки зрения культуры вообще и переселенчества в частности, не стоящая, как говорит Тартарен, ослиного уха, – в свое время изрыгнула из недр своих все те орды монголов, которые надолго затормозили жизнь востока Европы.

Здесь река Онон – родина великого Чингиз-хана.

Откуда взялись тогда эти толпы? Все пусто здесь, тихо и дико. Шныряет голодный волк, шатается беглый каторжник, да медведь ворочается в этих лесных трущобах. Все вразброс, в одиночку, каждый сам для себя, каждый враг другому.

Только ближе к тракту жмутся поселки, а там, в глубь... Никто не был там, и никто ничего не знает.

Часть этой полосы занимают бурята – остаток того же монгола из 200-тысячного войска Чингиз-хана. Трудолюбивый, воздержный народ, очень честный. Оставляйте ваши вещи на улице и спите спокойно. Их одежда, их косы, темные лица делают их похожими на китайцев.

В их храмах Будда с тысячью руками и тринадцатью головами. Это значит, что надо было бы, чтоб исполнить все задуманное, чтоб одна голова превратилась в тринадцать, и нужно тысячу рук, чтоб успеть делать то, что думают эти тринадцать голов.

Ламы бурят для отвращения от зла надевают в особые праздники уродливые маски и так появляются перед народом. Помогает и молитва от этого, и бурята не скупятся вертеть каток с написанными молитвами, что равносильно тому, как будто бы они их читали.

Бурят тих, покорен и большой дипломат с администрацией. Но во внутреннюю жизнь никого не пускает и умеет заставить уважать себя.

Когда русские рабочие нагрянули на строящуюся здесь железную дорогу, а с ними и всякий сброд, бурята быстро дисциплинировали их при первом удобном случае. Этот случай представился очень скоро. Рабочие поймали двух бурятских коров и зарезали их. Двое резавшие коров исчезли бесследно и навсегда. Это нагнало такой панический ужас на рабочих, что воровство прекратилось сразу, а вера во всеведение бурят дошла до суеверного страха.

Источник этого всеведения – сплоченность и хорошая внутренняя организация бурят. Они, как и китайцы, склонны к тайным союзам и разного рода тайным обществам.

Несомненно, бурята – народ способный к культуре. Между ними и теперь не мало людей образованных. Эти люди – общественное мнение страны, и наивно думать, что бурята не поймут смысла и значения разного рода административных мер за и против них. Из числа таких предполагаемых мер больше всего пугает бурят возможность земельных ограничений (они владеют землями по грамоте Екатерины Великой), воинская повинность и отчасти православие. Страх перед последним, впрочем, после успокоительных действий генерал-губернатора, барона Корфа, значительно ослабел.

Чтобы закончить с проеханным краем, надо сказать несколько слов о почтовом тракте.

Откровенно говоря, вся почтовая организация никуда не годится. Несколько станций, например, подряд с количеством лошадей в пятнадцать пар (пара не меньше трех лошадей), и вдруг перерыв, и две-три станции с пятью парами. Если и пятнадцать пар не удовлетворяют,

то можно судить, что делается на таких, еще более ограниченных станциях: ожидания по неделям, отчаянные проклятия и брань ожидающих.

Вот одна из обычных картинок. Ночь. В сенях и двух маленьких комнатках так тесно на диванах и на полу от лежащих, что пройти нельзя. Воздух ужасный, – здесь дети, женщины, мужчины, – семьи офицеров переселенцев, едущих по казенной и частной надобности.

Мы приехали и сидим в писарской. Присланный из Читы чиновник (а на другой станции, вместо чиновника, полицеймейстер города Читы) объясняет нам положение дела и свое бессилие:

– Девять суток ни минуты не сплю, перестаю понимать...

Слушаешь и думаешь: зачем прислали сюда этого мученика, когда надо было прислать сюда тех недостающих десять пар, из-за которых и загорелся весь сыр-бор.

А нет этих десяти пар потому, что охотников на назначенную почтовым ведомством цену не нашлось. Ну, не нашлось, заводи казенных лошадей, но не решение же и это вопроса, вместо лошадей чиновников посылать.

В писарскую доносятся ворчания и жалобы. Один, как потом оказалось, старый священник долго говорит и горько жалуется. Он бедный человек, он не может платить по 15 рублей за каждые 20 верст, он едет с семьей, и, ожидая очереди, они сидят уже седьмой день. Раздраженный и в то же время основательно, справедливо раздраженный голос его резко нарушает тишину ночи.

– Но зачем же, – говорит он, – бросать нас всех на грабеж?

Чиновник шепчет мне:

– Совершенно верно все это...

Голос священника:

– За фунт хлеба двадцать копеек, поросенок семь рублей... Но я нищий поп, откуда я возьму? Я месяц три станции еду... Я с ума, наконец, сойду...

Священник обрывается.

Мертвая тишина. Очевидно, теперь никто больше не спит и с жутким ощущением прислушивается. Чиновник шепчет:

– Верно, все верно... В нервах расстроился... А тут еще сибирская язва, падеж, ямщики возить не хотят, голод, кони истощенные, такие и падают больше от язвы, – запряжет, и пала дорогой. Овес два рубля, как их тут кормить? Ну и выпустили лошадей в поле, – говорят: «Везите на нас, а лошадей морить не дадим...» Вот почта второй день лежит.

После всех таких доводов остается одно: вольные, по какой угодно цене!

Так среди этого сплошного грабежа и воплей отчаяния мы как-нибудь подвигаемся все дальше и дальше.

Что здесь осенью будет во время распутицы?!

Через год, два, конечно, пройдет железная дорога, и весь этот ужас отлетит сразу в область тяжелых, невозвратных преданий, но дорога дойдет только до Сретенска, а там остается еще две с половиной тысячи верст, где дорога не предполагается. Там ли только нет дорог у нас?!

А какие цены! Прислуга 20-30 рублей в месяц, мясо 20-25 копеек, хлеб ржаной 2-3 рубля пуд... И это в маленьком, захолустном, сибирском городке Чите. Порция цыпленка (половина) – рубль, десяток яиц 60 копеек.

Как же живут здесь мелкие служащие? Все эти несчастные телеграфисты, почтовые чиновники, лесничие, доктора, мелкие железнодорожные служащие? Это мученики.

На железной дороге, да и везде, плата поденному доходит до 2 рублей. Этим еще лучше других было, но и у них уже явился конкурент – китаец.

Появление китайцев здесь, в больших массах, связано с началом постройки Забайкальской железной дороги. Маньчжурская дорога, конечно, усилит движение китайцев к нам.

Уже с Иркутска появляются китайцы; но там их, сравнительно, мало еще, они нарядны. Их национальный голубой халат, длинная, часто фальшивая коса, там и сям мелькает у лавок. Движения их ленивы, женственны, их лица удовлетворенны, уверенны.

Но чем дальше на восток от Иркутска, тем реже видишь эти нарядные фигуры и взамен все больше и больше встречаешь грязных, темных, полунагих обитателей Небесной Империи.

Русский рабочий говорит:

– Вот и тягайся с ним: тут и одетому не знаешь, куда деваться от комара, слепня и паука, а ему и голому нипочем.

И цену китаец берет, что дадут.

Мы смотрим на их бронзовые грязные тела, заплетенные косы, обмотанные вокруг головы. Это здоровое, красивое тело, и, когда оно питается мясом, оно сильно и работает лучше русского.

Китайца здесь гонят все, и в то же время здесь, в Восточной Сибири, китаец неизбежно необходим, и этого не отрицает никто.

Чревато событиями переживаемое здесь мгновение.

Со включением Маньчжурии в круг нашего влияния и занятием Порт-Артура широко растворились ворота, веками, со времен Чингиз-хана, запертые. В них уже хлынула волна черноколых, смуглолицых, бронзовых китайцев, и с каждым часом, с каждым днем, месяцем и годом волна эта будет расти.

Китаец мало думает о политическом владычестве, но экономическая почва – его, и искуснее его в этом отношении нет в мире нации.

Пока это еще какие-то парии, напоминающие героев «Хижины дяди Тома». Их вид забитый, угнетенный. Завоевание края на экономической почве дается не даром, и они, эти первые фаланги пионеров своего дела, как бы сознавая это, отдаются добровольно в какую угодно кабалу.

Где-то сделанное определение, каким-то бродягой рабочим, стихийного движения китайцев постоянно вспоминается:

– Он ведь лезет, лезет... Он сам себя не помнит: на то самое место, где товарищу его голову отрубили, – лезет, знает, что и ему отрубят, и лезет. Ничего не помнит и лезет. Одного убьешь – десять новых...

Может быть, через десять лет китаец будет так же необходим на Волге, как необходим он здесь, в Восточной Сибири. Это дешевый рабочий, честный, дешевый и толковый приказчик, прекрасный хозяин и приказчик торгового магазина, кредитоспособный купец, образцовый мастеровой, портной, сапожник; самая толковая, самая честная и самая дешевая прислуга.

Нет экономической почвы, на которой можно бороться с китайцем. Сонный казах-абориген тупо воспринимает переживаемое мгновение. К гнусу, морозу, бродягам прибавились и эти желтокожие, оспаривающие его право получать поденщину – 1, 2, 5, 10 рублей – все, что угодно. Зачем стесняться? Там всплывает тело пристреленного китайца, там, изуродованного, его находят в лесу...

В Сретенске в этом году взорвали целый барак, где спали китайцы рабочие. Вчера в Сретенске же нашли под другим бараклом, тоже китайским, пятнадцать фунтов динамиту и уже горевший фитиль.

Но сам казак мрачно, как с похмелья, безнадежно говорит:

– Проклятая сила: одного прикончишь – десять новых вместо него... – и сам же казак пользуется дешевкой китайца и нанимает его на свои работы.

Китаец жизнью не дорожит: он равнодушен к этим покушениям, – если он умрет, ему ничего не надо, но если он жив, то он получит свое.

Недавно, буквально из-за недополученного пятака, толпа китайцев чуть не убила железнодорожного техника и его защитников. Китайцев было пятьдесят человек, у техника – двадцать пять, и часть из них вооруженная револьверами и ружьями, тогда как у китайцев огнестрельного оружия не было. И тем не менее победителями остались китайцы, хотя раненых у них оказалось больше, и был даже убитый.

Это не говорит во всяком случае о беспредельной трусости китайцев.

– Китаец робок, а озлится – нет его лютее, – определяют здесь китайца.

– Проклятые дьяволы... сатана вас из пекла прислал к нам.

Китайцы, живущие в России, подчиняются какой-то своей внутренней организации, они очень зорко следят друг за другом и с каждым деморализующимся своим сочленом быстро сводят счеты:

– Кантоми...

То есть: рубят голову. Или в лесу повесят. Обыкновенно признаком такой расправы служит то обстоятельство, что китайцы при обнаружении такого трупа не жалуются и молчат.

На одном из приисков здесь произошло на днях загадочное преступление.

На прииске между прочими работали и китайцы (и там они, конечно, заменят всех других). Нашли убитым маленького, лет одиннадцати мальчика. Подозрение пало на двух китайцев. Их пытали, насекая им тело от шеи и до живота.

Китайцы не выдержали и заявили то, что требовали от них их палачи. Тогда их отправили в Сретенск, но, придя туда, они сказали, что неповинны в смерти мальчика и сделали на себя поклеп, только чтоб избавиться от дальнейших пыток.

Много толков вызвало это происшествие. Казаки, да и не одни казаки, уверяют, что китайцы убили мальчика с целью сварить и съесть его.

– Это первое блюдо у них: православных детей есть.

(Замечательно, что китайцы, у, себя, в том же обвиняют иностранцев.)

Нет сомнения, что это ложь, но такая же ложь относительно евреев жила веками и делала свое страшное дело.

Местное население здесь – казаки. Это крупный в большинстве народ, причем подмесь бурятской и других кровей ощутительна; женщины некрасивы.

Казаки зажиточны; имеют множество немереной земли, на которой и пасутся их табуны лошадей и скота.

Хлебопашество процветает менее. Сеют рожь, пшеницу, овес.

Но главный доход их от скотоводства...

Начиная от Читы, к востоку, эти казачьи поселки тянутся непрерывно. От самого маленького мальчика до самого старого, все жители поселков в шапках с желтым околышем и в штанах с желтыми лампасами. Вместо же мундира большое разнообразие: от рубахи до пиджака. В костюмах значительная щеголеватость: шелковые рубахи, у женщин даже корсеты, ботинки в двенадцать рублей не редкость, шляпы.

Читая здешние газеты, надо прийти к заключению, что нравы, однако, несмотря на эти внешние признаки цивилизации, дики и грубы; пьянство, поединки, кулачные бои. Грамотных мало, и никому грамота не нужна. Казак ленив, суеверен и апатичен.

В свое время казачество здесь сослужило большую службу. Без них, конечно, нельзя было бы России удержать в своих руках весь этот край.

Но наступают другие времена, и, по Гёте, счастье одного поколения – страдание последующих – казаки являют уже в теперешнем виде серьезные тормозы дальнейшей культуре края.

Это и само собой делается. Мы уже видели, как труд их парализован уже китайцами. В этом отношении казацкую силу можно считать уже сломанной.

Но в борьбе с переселенцами казаки пока имеют сильный перевес. Вся хорошая земля оказывается принадлежащей им, и переселенцев пускают только в такие трущобы, откуда нельзя не бежать. Этих обратных переселенцев много встречается.

На одной из станций с нами ночевали двое из них. Это собственно ходоки. Они уроженцы Киевской губернии, поселились на Кавказе, а оттуда товарищи послали их в Сибирь и главным образом на Амур. Теперь они возвращаются назад с отрицательными ответами. Толковые, уверенные.

– Ничего не стоит Амур для нашего хозяйского дела. Первое, казаки оттирают, что получше, поближе к реке и к городам, – в их руках. Второе – земля. Аршина два копнул, и уже мерзлота. В самую уборку – дожди. Да и уборка в сентябре, в мороз.

– Как же молотят?

– Зимой, на льду, когда градусов сорок морозу. В рукавицах жать, какое уж тут хозяйство? Опять овощ всякая: яблоки, груши, арбузы, дыни или что там: ничего нет. Так, что-то вроде тюрьмы. Не годится для нашего брата крестьянина... Девки и парни перемрут с тоски.

– Но селятся же все-таки?

– Мало же. Неприютная сторона, казаки неприютны... Бог с ними, земли не размежеваны – всё захватили.

Жалуются на казаков и города.

В Сретенске, например, несмотря на всю наличность города – село, принадлежащее казакам. Право селиться, строиться – все от казаков. Аренда высока и, кроме того, гнет неграмотной и алчной администрации несносен.

– Помилуйте, будь Сретенск городом, в три года удесятился бы, а так, кто порядочный сюда пойдет.

Теперь же это улица вдоль реки Шилки с целым рядом магазинов.

– А теперь для кого же эти магазины?

Вам шепчут на ухо:

– Магазины эти только для виду; главная же торговля здесь тайным золотом.

Это тайное золото, промываемое хищниками. Золото в этом крае везде, а с ним везде и воровство, и грабеж, и убийство, и тайная торговля этим золотом.

Оно сбывается в Китай. Сколько его сбывается – неизвестно, но вот факты, по которым можно кое-что сообразить.

Из Маньчжурии в Китай официально (помимо, следовательно, наворованного китайскими чиновниками и хищнического добывания, – оно существует и там) ежегодно идет до четырехсот пудов золота². Частная разработка золота до последних дней не разрешалась в Маньчжурии. На казенных приисках добыча его ничтожна.

Путешественники по Маньчжурии (Стрельбицкий и другие) удостоверяют, что хищническая добыча там ничтожна и едва оправдывает нищенское существование искателей. Откуда же эти четыреста пудов на сумму до восьми миллионов рублей?

Непричастные здесь к делу люди того мнения, что это наше золото. Если к этому прибавить до пяти миллионов официальных, которые составляют излишек в нашей торговле по амурской границе с Китаем, в пользу Китая, то очевидно, что, пока мы заберем еще китайцев в руки, они во всех отношениях хорошо от нас пользуются.

Город Кяхта, половина которого русская, а другая китайская, несмотря на барьеры, бойко и легко торгует этим запрещенным товаром. Как анекдот, рассказывают, что там устроены даже особые кареты китайцами, в которых купцы их возят к себе в гости русских чиновников, и в этих же каретах едет в Китай золото, а из Китая шелк, или переносят ночью, перебегают и днем, рискуя выстрелами даже.

² «Описание Маньчжурии», издание Министерства финансов. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

Чтобы кончить с проеханным путем, два слова о Нерчинске. Утром, часов в восемь, мы подъехали к реке Нерче. Все еще было окутано серым, как солдатское сукно, туманом. Едва виднеется тот берег – пустынный, голый, неуютный, такой же, как и вся природа здесь.

Этот же берег крутой, скалистый. Молча, угрюмо, торопливо и озабоченно убегают волны реки мелкими струйками, обгоняя друг друга.

Холодно и неуютно.

Встают фигуры декабристов.

Они тоже переплывали эту реку, сидели, как и мы, на пароме, смотрели в воду и думали свою думу.

Вот и другой берег; пологой степью исчезает в тумане даль...

В этом тумане, там где-то, Нерчинск.

По этой степи шагали они, и в мертвой тишине точно слышишь лязг их цепей.

Может быть, будь здесь жилье, не так вспоминалось бы, но это безмолвие и одиночество сильнее сохраняет память о них.

Самый Нерчинск поражает тем, что среди серых, бедной архитектуры домиков, вдруг вырастает какой-то белый оригинальный дворец в средневековом стиле, с громадным двором, обнесенным красивой решеткой.

Тюрьма? Нет, здания какого-то купца. Здания, которые украсили бы и столицу.

Бедный купец, впрочем, уже разорился, и здания эти приобретает тюремное ведомство.

4 августа

В Сретенске мы просидели дня три.

Можно было бы умереть с тоски, если бы не товарищ мой С. Г. К. Он строитель 12-го участка Забайкальской железной дороги. Его участком и кончается эта Забайкальская железная дорога, и дальше, от Сретенска к Хабаровску и Владивостоку, единственным путем служит река Шилка и Амур: летом на пароходе, зимой на санях. Почтовые лошади содержатся, впрочем, круглый год, и в мелководье эти лошади перевозят почту и пассажиров в лодках. Лодка плывет по реке, а лошади тянут ее вдоль берега. Когда попадаются скалистые берега, а их здесь очень много, принимаются за весла, а лошадей вплавь перегоняют на другой, более пологий берег или гонят их в обход скал.

В период весеннего и осеннего ледоходов ездят сухим путем, так называемой тропой. Эта тропа вьется тут же вдоль реки, там где-то, на обрывах скал, высота которых достигает до 1500 футов. На этой головокружительной высоте тропа суживается иногда до аршина. Привычная верховая или выючная лошадь осторожно шагает, а непривычный путник, сидя на ней, сбивает ее своими нервными движениями, и иногда летят они оба вниз, на острые камни, разбиваясь, конечно, насмерть.

Лучше уж пешком идти, но и то при условии, если не кружится голова. В противном случае лучше всего сидеть в Сретенске и терпеливо ждать прохода льда: весной, в конце апреля, несколько дней, осенью больше месяца, – от половины октября до конца ноября.

На это время таким образом вся остальная Восточная Сибирь остается отрезанной от своего центра. Положение неудовлетворительное и даже, с точки зрения политической, опасное.

Выбирая между шоссе и разными типами железных дорог, самый дешевый будет, конечно, узкоколейная железная дорога. Если где она уместна, то, конечно, здесь, среди этих неприступных скал, занимая место не более 1½ сажен в ширину, тогда как для ширококолейной нужно 2½, а для шоссе не меньше 3½. А количество земляных работ на этой дороге имеет решающее значение в смысле стоимости ее. Так на Забайкальской железной дороге, близ Сретенска, – на версту, земляных работ приходилось 4 тысячи кубических сажен при цене 6 рублей за куб. Здесь же место более трудное, и надо считать их не менее 6 тысяч куби-

ческих сажен, при цене 8 рублей (больше скалистых работ). Для узко же колейной железной дороги потребуется 2 тысячи кубических сажен (она уже, и радиус ее, вместо 150, может быть 35 сажен, вследствие этого является возможность обходить многие скалы). И таким образом на один излишек земляных работ (32 тысячи) хватит выстроить рельсы, шпалы, подвижной состав и проч.

Что касается до провозоспособности этой узкоколейной железной дороги, то она не уступит ширококолейной здесь, так как уклоны ее по реке будут незначительны, а при таких условиях и разницы нет в силе тяги.

Благодаря, как я сказал, любезности С. Г., мы не только не скучали, но провели наше время незаметно в Сретенске.

С С. Г. мы старые приятели, лет двенадцать назад работали вместе на постройке одной дороги. Тогда мы оба были еще молодыми строителями. Теперь С. Г. занимает большое, ответственное место самого трудного участка дороги.

Среди гостей С. Г. крупный золотопромышленник, уже глубокий старик, но энергичный, бодрый, сухой, как мумия, с длинной, как у Черномора, седой выющейся бородой.

Он помнит основание Благовещенска, Владивостока, он знает всю эту Сибирь, как себя, и пользуется большим значением здесь. Его зять из молодых технологов. Он устроил здесь цементный завод, на миллион пудов выделки в год, и в один год пустил его в ход. Что это для Сибири, какая энергия нужна для этого, поймет и оценит только здешний житель.

Завод в пятнадцати верстах от Сретенска, и я, Н. А., доктор и С. Г. ездили на этот завод.

Громадное четырехэтажное здание из дерева, с железной обшивкой, все в удушливой едкой пыли от глины, песка, размолотого камня и угля. В этом аду все работники только китайцы. Грязные, потные, с косой, обмотанной вокруг головы, полунагие они лежат каждый около своей печи, и их поднимает владелец завода резким, коротким: «Хэ!»

И это «хэ», как эхо бича из «Хижины дяди Тома», тяжело режет ухо.

Владелец – экономый, расчетливый человек. Он напоминает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом действии, когда торжествующий хозяин выезжает на сцену: он бьет в барабан и смотрит, бьет и опять смотрит, словно считает: и эта телега, и этот осел, и этот весь цирк, и жена в тележке – все это его и только его. И все это даст ему денежки: круглые, золотые, и все они будут его и только его.

Дом владельцев со всеми удобствами и даже электричеством, но впечатление опять: все это так, между прочим, как и сама жизнь в доме, а главное там, в этой пыли и вони, где затрачен миллион, и все к нему приспособлено, и самой жизни нет, не чувствуется.

Не хочется ни миллионов этих, ни всей этой прозаичной жизни. Доктор привез было свою гитару, но она так и пролежала на пароходике.

Две женских фигурки – миловидные – мелькали перед глазами. Но это как-то так, как второстепенное.

Тоже «женское», как величал сибирский ямщик своих женщин.

У рабочего человека, без капитала, С. Г. куда теплее и веселее.

8 августа

Третий день на маленьком буксирном пароходе. Мы единственные пассажиры.

Ночевали сегодня посреди Шилки. По обыкновению, в три часа ночи спустился туман, и простояли до восьми утра.

Ночь тихая, сырая и гулкая. Это вода Шилки, мутная, озабоченная, обгоняет нас. Скорость воды здесь, по определению капитанов, до ста верст в сутки. Вероятно, это так и есть, так как плесов, то есть тихих мест на реке, где нет струек и водяных вихрей, очень мало.

Часам к десяти утра выяснилось, и холод сразу сменился порядочной жарой, – одна параллель с Харьковом чувствуется.

Все те же гористые, пористые леса, пустынные берега. В них медведи, козы. Ниже верст на шестьсот начнутся тигры. Через двадцать – тридцать верст попадают одинокие домики – это почтовые станции, их семь, или, как называют их здесь, – семь смертных грехов.

Они тянутся до села Покровского, там, где сливаются Аргунь и Шилка, откуда, как известно, и начинается уже Амур.

Переезд от такой почтовой станции до другой, в лодке, занимает около суток.

Места живописны, иногда горы громоздятся и ближе жмутся к реке, иногда расходятся и, покрытые синей дымкой, далекой декорацией стоят на горизонте.

Но все пустынно: нет людей, и не тянет к себе своей пустыней эта далекая сторона; увидеть и забыть.

Было пять часов вечера, когда мы подошли к устью Аргуни.

Аргунь вышла под острым углом из-за ряда высоких, зеленым лесом покрытых сопков (или салачков, как здесь называют).

На мгновение мелькнула высокими горами сжатая долина Аргуни и даль уже китайских владений.

На острой косе, между Аргунью и Шилкой, расположилось наше небольшое казачье селение – Усть-Стрелка³. Отсюда, ниже, весь правый берег уже китайский.

Такой же пустынный, покрытый рублеными лесами, как и наш. На его берегу стога сена – это казаки наши снимают у китайцев их уголья в аренду.

По китайскому берегу в голубой блузе и широких штанах, с косой сзади, пробирается китаец – это нойон, начальник пограничного поста. Вот его избушка. Этому нойону пароходчики дают несколько рублей и рубят китайский лес на дрова, на сплавы, и так же поэтому мало леса у китайцев, как и у нас. Молодняк растет, а от старого только следы, – дорожка, по которой спускали его со стосаженной высоты. Много таких следов. Спущенный к реке лес вяжется в плоты и спускается к Благовещенску.

А еще через полчаса мы пристали и к станции Покровской.

На мгновение улыбнулась была надежда, что стоявший у берега большой пароход повезет нас вниз по реке. Но, увы! большой пароход идет вверх, а вниз, часа четыре тому назад, ушел почтовый, следующий же пойдет не раньше трех дней.

Поистине в нашей злополучной поездке какая-то скачка с непреодолимыми препятствиями: и чем больше напряжения с нашей стороны, тем все хуже выходит.

На наш вопрос: сколько наш пароход взял бы за доставку нас в Благовещенск, ответ: «Пятьсот – шестьсот рублей».

Этого барьера по крайней мере не перескочишь. Сегодня ночуем на пароходе, а завтра перебираемся на берег, если, впрочем, найдем квартиру, так как ни гостиниц, ни постоялых дворов нет. Ни того, ни другого не желают всемогущие здесь казаки.

Вечереет. Мы стоим у берега. Зеркальная поверхность воды, прекрасный закат и тишина. Изредка только нарушается она вздохами нашего парохода. Как загнанное животное при последнем издыхании, он вздыхает тяжело-тяжело.

Вот розовой мглой охватило воду, вспыхнула она на мгновение в ответ небу ярким заревом и задымилась вечерним туманом.

Огоньки загораются на берегу нашем и китайском.

Село Покровское на небольшом от берега возвышении – все, как на ладони: две церкви, несколько зажиточных домов, но большинство бедных.

³ Та самая Усть-Стрелка, к которой пристали аргонавты бывшего фрегата «Паллады» на сделанной ими самими в Японии шкуне «Хеда». Как известно, остов фрегата «Паллады», за ветхостью, был оставлен в Амурском заливе, а экипаж перешел на фрегат «Диану». Вследствие землетрясения, бывшего в Японии, «Диана» потерпела крушение, и ее заменила самодельная «Хеда» («Фрегат „Паллада“», том седьмой, стр. 554, соч. И. А. Гончарова). (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

– Вот казаки, прямо сказать, грабят, а нищими живут: все кабак...

Это говорит пришедший к нашему капитану в гости капитан большого парохода, на который мы возлагали было наши надежды. Мелкая фигурка, блондин, лет тридцати пяти. Полный контраст с нашим. Наш капитан старый морской волк, громадный, с кожей темной и блестящей, как у моржа, шестидесяти двух лет, молчаливый и несообщительный. Новый же капитан охотник поговорить, и в полчаса он рассказал много интересного. Он сам казак, но признает, что ленивее казака ничего нет на свете.

С постройки Забайкальской и Уссурийской дорог, когда появились в качестве рабочих китайцы, казаки возненавидели китайцев. В борьбе с ними все меры дозволительны. Их убивают, обкрадывают.

– Вы слышали, вероятно, что вот китайцы детей в котлах варят. Выдумка голая: знает, что врет, и врет, – врет и верит уже сам: сам себя разжигает... Вчера пришел я с пароходом сюда; атаман на пароход: так и так, на каком основании китайцев-пассажиров на пароходе везете, паспорта у них неисправные. – «А я откуда знаю? Я не полиция... Пассажир сел, деньги отдал, больше до меня не касается». А вся штука в том, что эти пассажиры взяли по три копейки с пуда выгружать наш груз. Так вот откажи им, а казакам по пятаку отдай. А дай по пятаку, по гривеннику запросят, сами себя не помнят. Составил протокол, к мировому тянет меня. Ну, однако, мировой не то, что было: можно сказать, с ними пришел и закон, наконец, старое пора и забыть.

– Хорошее было старое?

– Денной грабеж был. У какого-нибудь полицейского чина в полной власти... Как вот у китайцев, такая же организация...

– А китайцы ваши действительно были без паспортов?

– А без паспортов, шельмецы... Есть у них что-то по-ихнему написанное, а что такое, кто разберет? Настоящих паспортов ни у одного нет, у всех, кто здесь работает... идут и идут... и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет? Из-за чего же? Мы все из Маньчжурии покупаем: и хлеб, и мясо, и водку, а без них мы досиделись бы до двадцати рублей за пуд говядины, как было во время Желтугинской республики...

На берегу в раздумье, слегка покачиваясь, стоит рабочий в блузе, высоких сапогах и слушает, что говорит капитан.

Лицо его слегка вспухло, он светлый блондин, маленькие умные глаза его впились в говорящего.

На последние слова капитана он раздраженно говорит:

– Не придется...

– Что не придется?

– Не придется, и господин прокурор господ китайцев, прохвостов и жуликов, вон выселит всех до последнего на ту сторону (он показывает на китайскую границу)... чтобы и казаки могли есть хлеб, который им посылается судьбой. И не для того посылается, чтобы его китайским тварям отдавать. Так-с... На копейку бы просил казак всего больше, и того нельзя уважить...

– Вот и слушайте его... А скажите им, что в России за пятак семьдесят верст везут, да нагрузят и выгрузят...

– Россия нам не указ.

– Не указ? А в Америке копейку за это самое платят.

– И Америка не указ, а что вот господа пароходчики недостаточно гуманны к рабочему русскому человеку и в свое время поплатятся за это, так это тоже верно-с.

– Ты рабочий? Пропойца чиновник...

– Вот...

Пропойца проговорил это с горечью, протянул руку и вскрикнул патетически:

– О незабвенный Некрасов... Помните-с? Кому вольготно, весело живется на Руси? Купчине толстопузому...

С трагическим жестом и энергично покачивая головой, он отошел к небольшой группе казаков.

– Вот и разговаривайте с ними, – с не меньшей горечью сказал мой собеседник, – китаец в день зарабатывает до десяти рублей на выгрузке, русскому мало: дай двадцать, а за тысячу верст провоза мы берем всего двадцать копеек. Из них за нагрузку отдай пятак, да пятачок за выгрузку, что ж останется? И ведь так и будут сидеть, так и сидят, поджавши колени, вот как на... Ну-с, мне пора...

Капитан ушел, а я остался. Темнеет. Синеватый прозрачный туман заволакивает горы, даль, село. Дымится река, все так же тяжело стонет пароход. Какая-то фигура подошла к берегу.

– Господин...

Я подхожу. Пропойца чиновник.

– У вас выгрузки не будет?

– Завтра...

– Вы нам?

– Вам...

– Я интеллигентный человек: копейки денег нет.

Я бросаю монету, он ловко ловит и с ужимками быстро скрывается.

Пока стоял он, слушая разговор наш, прошло больше часа.

В это время шла выгрузка, и он мог бы заработать ровно в десять раз больше, чем то, что получил от меня.

– Истинно образованного человека сейчас видно, – раздается его поощрительный голос из темноты.

Мне стыдно и за себя и за него, и я быстро ухожу в каюту.

9 августа. Село Покровское

Месяц, как выехали мы из Петербурга, а до Владивостока еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сделать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого другого. А что он стоит, этот путь... При всех лишениях, с отсутствием горячей пищи включительно обойдется до тысячи рублей на человека. Тогда как на пароходе пятьсот рублей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей уже разворовано, попорчено, во что превратились наши новенькие чемоданы! Все подмочено, отсырело. А ощущение своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и непредвиденностями этого пути, где в лице каждого писаря, содержателя почтовой станции, ямщика, пароходчика является какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороться, спорить... Изломанные, измученные, разбитые ужасной дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружаетесь в какое-то кошмарное состояние с одной надеждой, что кончится же когда-нибудь это.

Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплошной висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет, – лучше вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены на берег. Идет нагрузка муки на пароход. Рабочие всё китайцы. Работают сегодня по четыре копейки с пуда.

– А казаки?

Спят казаки.

Носят крупчатку. Вся крупчатка здесь до Читы из Америки. В Николаевске она 2 рубля 75 копеек (за 55 фунтов), в Сретенске – 4 рубля 50 копеек. Крупчатка соответствует нашему второму сорту.

Пью чай на палубе. Туман расходится. Усть-Стрелка верстах в четырех выглядывает уютно на своей косе. Казаки просыпаются. Целый ряд на берегу маленьких лодок-душегубок. На них ездят по реке на ту сторону. Ребятишки гурьбой соберутся и плавают в этой валкой и ненадежной лодочке: вот-вот опрокинется она – звонкий их смех несется по реке.

Душегубка побольше пришла с той стороны: в ней трое. Казак постарше, в шапке с желтым околышком, серой куртке с светлыми, пуговицами, с желтыми нашивками, казак помоложе и третий, какой-то рабочий: у них в лодке таинственный бочонок – водка китайская.

Привезли с той стороны барана нам. Баран худой, и в России красная цена ему 4 рубля, здесь – 9 рублей и шкура хозяину. Пуд мяса выйдет. Сейчас же на берегу зарезали его. Снимают шкуру, вынимают внутренности.

Ноги, голову и часть барана подарили команде, половину передка – капитану, внутренности забрали китайцы. Они бросили работу и, присев на корточки, моют эти внутренности в реке.

Доктор выглянул. Прошел на берег, осмотрел барана:

– Дорого...

– В покупке участвуете?

Доктор экономен.

– Нет.

– Порциями будем отпускать. Сколько дадите за порцию?

– Тридцать копеек.

Бекир, уже догнавший нас, смеется. Бекир очень рад барану, называет его не иначе, как барашек, и хвалит.

Но кухарка нашего парохода, старенькая, как запеченное яблоко, говорит:

– Дрянь баран: тощий, смотреть не на что.

Бекир не унывает:

– Ничего, хорош будет.

Н. Е. проснулся. Ему хочется сегодня поохотничать.

Надо распаковать оружие: кстати, увидим, что с ним сделалось в дороге. Н. Е. и доктор занялись этим на берегу. Остальные пьют чай на палубе.

– Ну, все пропало, – кричит Н. Е., – промокло, заржавело, все рассыпалось.

– Глупости, – кричит доктор, – разве могут патроны промокнуть?

Мы идем все смотреть. Промокнуть не промокло, но вид некрасивый: плесень, ржавчина.

– Надо скорее чистить, – говорит доктор.

Он чистит, разбирает. Кругом казаки. В ружьях они понимают и любят их. Хвалят магазинку с разрывными пулями на медведей и тигров. Хвалят охотничьи ружья, но в восторг приходят от карабинки-револьвера Маузера.

– Эх, и ружья же нынче делать стали.

Прицеливают, рассматривают.

– Не продаете?

– Нет.

– А то продайте: пользу дадим.

Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, сажени в четыре, с парусиновым навесом посреди... Четыре китайца на веслах, два на руле, один выглядывает из-под навеса. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.

– Что они везут?

– Водку свою казакам, а то опиум.

Подальше у берега стоит более нарядная раскрашенная фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная будочка, раскрашенная, узорно сделанная.

По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо помахивая головой, выдвигая манерно ноги.

– Кто это?

– Так, писарь какой-нибудь... – говорит наш капитан. – А называет себя полковником... Казаки спрашивают: «А сабля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет полковник, – важнее будет. На пароход ихнего брата много придет. «Я полковник, мне надо отдельную каюту...» В общую с людьми его, конечно, не посадишь...

– Почему?

Наш старый капитан смотрит некоторое время недоумевающе на меня.

– Так, все-таки же он нечистый... Кому приятно с ним?

– Злые китайцы?

– Когда много их и сила на их стороне, – люты... А так, конечно, ниже травы, тише воды... умеют терпеть, где надо.

В час дня пароходик наш «Бурлак» ушел назад в Сретенск, а мы переселились в слободу.

Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажень шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная лубочными картинками.

После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать. А проснувшись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за разборку своих вещей, а мы, остальные, сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь.

Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрослые, едут верхом, едут телеги.

В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, получается яркая бытовая картинка. А на противоположной стороне улицы огороды – в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы.

Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень много желать в отношении красоты. Главный недостаток скуластого, продолговатого лица – маленькие, куда-то слишком вверх загнанные глаза. От этого лоб кажется еще меньше, нижняя часть лица непропорционально удлиненной. Это делает лицо жестким, деревянным, невыразительным. Напоминает слепня – что-то равнодушное, апатичное.

– Просто заспанные лица, – язвит Андрей Платонович.

На балконе появляются доктор и Н. Е. Молодое лицо Н. Е. все такое же бледное, слегка опущенное русой бородкой, добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил верст десять на охоте. – Надо пристреляться к ружью.

Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом лесов. Бекир готовится все для шашлыка из баранины.

– Ну вот выискалась долина, вы живете здесь, а там за этими горами что? – спрашиваю я хозяина, старого казака. Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.

– Там горы да камни.

– И далеко?

– По край света.

– Не сеете там?

– И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь насчет посева...

Казак машет рукой.

– Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного мальчика наделяется сейчас же сорок десятин, – вероятно, уже немного свободной земли?

- Где много. Если б не умирали...
- Давно живете здесь?
- Сорок лет, как основались, здесь.
- У вас старинных женских одежд нет или всегда ходили так?
- Как так?
- Да вот в талию?
- Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот мещанская мода пошла.

Мода очень некрасивая: громадное четвероугольное тело слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юбкой и талией торчит что-то очень подозрительное-по чистоте. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое. Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер, тепло – где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь тихо и не слышно ни песни, ни гармонии.

Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, потухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно пуста улица – спит все. Иногда разносится лай громадных здешних собак. Пора и нам спать. И спится же здесь: сон без конца. Прозаичный, скучный сон, без грез и сновидений. А зимой-то что здесь делается?..

10 августа

Хотели вчера пораньше лечь спать, но увлеклись приготовлением шашлыка и засиделись долго.

Учителем был Бекир, конечно. Жарили во дворе, у костра. Шашлык вышел на славу. Было ли действительно вкусно, или нравилась своя работа, но он казался и сочным и вкусным, таким, словом, какого мы никогда не ели.

– Заливайте красным вином, обязательно красным, – дирижировал доктор, последним отставший от шашлыка.

Мы уже давно пили в комнате чай, когда со двора раздался его отчаянный вопль:

– Тащите меня от шашлыка, а то лопну.

Он и сегодня с сожалением вспоминает:

– Много хороших кусков пропало: жир все.

– Жир разве полезен для желудка?

– Для моего и гвозди полезны.

Конкурент доктору в еде Н. Е. Мы им обоим предсказываем паралич.

Ночью спалось плохо: много уж спим. Ночь мягкая, теплая, с грозой и дождем. Пахнет укропом и напоминает Малороссию с ее баштанами, свежепросоленными огурцами, арбузами и дынями.

Пробуждение утром неприятное: сразу сознание бесцельного торчания в каком-то казацком селе.

Но так как ждать придется, может быть, и несколько дней, то решил забрать себя в руки.

Встал, умылся, напился чаю и отправился в соседний дом заниматься: сперва английским языком, затем чтением о Корее и Китае.

Сижу и занимаюсь под аккомпанемент визгливой ругани моих хозяев-казаков.

Как они ругаются! И мужские и женские голоса...

Старухи голос:

– Я тебе не молодуха, и не имеешь надо мной больше закона.

Или:

– Ах ты, пьянчужка, вредный старик, поперечный...

Мужскую ругань, к сожалению, по совершенной нецензурности, привести нельзя: грубая, плоская, с громадной экспрессией.

Ясно мне во всяком случае, куда девают избыток своей энергии казаки и с кем они воюют в мирное время.

А между тем разгар жнитва, и с вечера собирались уехать. Но так как-то не поехалось. Послали молодуху с китайцами жать, а сами вот и отец, и сын, и мать, и сестра здесь не наругаются.

Заглянул и ко мне старый, всклокоченный, нечесаный казак – очевидно, до нового праздника чесаться не будет. Ходит страшилищем. Бекир предложил было ему под машинку остричься у него, но казак только зрачками сверкнул на Бекира.

Отворилась дверь, и вошел Н. А., а за ним тонкий, молодой, потертый походом морской офицер.

– Позвольте познакомить вас, господа: лейтенант Р.

Лейтенант, простой, симпатичный, в белой тужурке, уселся, и мы заговорили сразу обо всем; и о Порт-Артуре, откуда он едет, и о Корее, о японцах и Маньчжурской дороге, о Русско-Китайском банке, о Гинцбурге, неофициальном поставщике флота и армии там, на Востоке.

– Замечательный человек этот Гинцбург, – рассказывает нам моряк, то подбирая со стола крошки, то вертя что-нибудь в руках (признак деятельной натуры), – начал свою карьеру простым разносчиком, в конце шестидесятых годов, бегая с корабля на корабль. Теперь, у него громадный кредит в Китае, Японии, Америке, у англичан. Бывший дезертир наш, – теперь уже его простили, – Станислава имеет, разрешен въезд в Россию. Весной было как прижали нас с углем! Нет угля – англичане весь скупили: семьдесят шиллингов за тонну. А Гинцбург по тридцати дал, и пароходы оказались зафрахтованными, все вовремя доставил. В убыток себе доставил.

– Что же его побуждает?

– Надеется, вероятно, контракт когда-нибудь на поставки заключить... Англичане давали ему шестьдесят шиллингов, началась американо-испанская война, американцы предложили семьдесят, а он нам – тридцать.

– Большое количество?

– Тогда мы взяли сто двадцать тысяч пудов.

– Только скажете название корабля – «Александр Иванович командир». И он уже знает, как этого Александра Ивановича уважить, какой провиант он требует, что особенно любит. Без него плохо пришлось бы. Он и Русско-Китайский банк – два всесильных человека на Востоке.

– Банк силен?

– Все в его руках.

– Как постройка Маньчжурской дороги?

– Не знаю... Кажется, хорошо.

Входит доктор. Рубаха красная, лицо расстроенное, с энергичным движением бросает фуражку.

– Нет, это черт знает что такое! На почтовом пароходе, который завтра придет из Сретенска, ни одного свободного места.

Зачем же мы, отказавшись от удобств пассажирского парохода, без еды, прорвались сюда? Чтоб из первых стать последними? Вот где понимаешь русскую пословицу: «Тише едешь, дальше будешь».

Но так нельзя. Держим военный совет, и в результате Н. А., моряк и я идем на почтовый пароход, с которым приехал г. Р. и который ждет пассажиров из Сретенска, чтобы пересадить их к себе и ехать в Благовещенск.

Очень любезный капитан разводит руками и показывает телеграмму агента о точном количестве пассажиров. После энергичных переговоров получаем наконец согласие его на пять мест.

Только что сошли с парохода, подходит капитан другого стоящего здесь буксирного парохода и говорит:

– Получил телеграмму ехать назад, в Благовещенск. Через два часа еду. Если хотите, могу вас взять с собой.

Хотим ли мы?!

Пусть опять буксирный и без буфета, только бы ехать.

Спешим домой. Новая беда: Н. Е. неизвестно куда ушел на охоту.

Беда с молодыми охотниками. В час дня какая охота?

Ищи его теперь. Назначили пять рублей тому, кто его найдет, а сами принялись укладываться и обедать.

Три часа, мы уже на пароходе «Михаил Корсаков» и едем до Благовещенска без Н. Е.

Любезный лейтенант Р. взялся доставить ему записку и устроить его на пассажирском пароходе.

Пароход наш в 400 сил, сидит 3 фута, на ходу 3½ фута, а при полной скорости, когда заливает от хода палубу, опускается до 4 футов. Мы идем со скоростью двадцати семи верст в час, но скоро начнутся перекаты, и тогда пойдем тихо.

Собственно, пароход несравненно больше «Бурлака», но помещение наше хуже. Нам уступили столовую – небольшую каюту. Она внизу, с двумя небольшими круглыми окошками. Бросили жребий, кому где спать. Мне с Н. А. пришлось на скамье, доктору на столе, А. П. под столом. Впрочем, оба они устроились на полу. Кормить нас взялись, чем бог пошлет, и с условием не быть в претензии. После двадцатидневного сухоядения, о каких претензиях может быть речь?

Большая часть команды – китайцы. Нам прислуживает подросток китайчонок Байга. Он юркий, живой, полный жизни и веселости. Говорит, как птица.

У китайцев множество горловых и носовых звуков, чрез разные наши «р» они прыгают, и поэтому в их произношении наш русский язык немногим отличается от их китайского.

Перед самым отходом появился на берегу чиновник рабочий. Сегодня он трезв и задумчив, Лицо интеллигентное и испитое.

Я спросил его:

– Как ваши дела?

– Сегодня была работа.

– Много заработали?

– За полдня три рубля.

– Хороший заработок.

– А много ли его? И пароходы не каждый день приходят, а через два месяца и конец всему, а зимой и копейки негде добыть здесь. Здесь казаки своим хлебом и не живут, да и на Аргуни в этом году хлеба нет.

– На Аргуни большие посевы?

– Аргунь весь Амур кормит.

– А здешние казаки чем кормятся?

– Да вот дрова для пароходов, а зимой извоз – это два главные их промысла.

– Охота?

– Нет, это уж на любителя.

Тон чиновника-работника мягкий, ласковый, смущенный. Мы постояли еще немного и расстались. Не легка здесь жизнь такого.

Мы плывем, и опять зеленые горы по обеим сторонам. Старый лес весь срублен и сплавлен, молодой зеленеет.

Мы, русские, рубим и на своем, и на китайском берегу, но и за свой и за китайский лес наша казна берет ту же таксу: восемьдесят копеек с сажени.

– Так ведь это китайский лес?

– Китайский.

– А китайцы берут что-нибудь за свой лес?

– Ничего не берут.

Оригинально во всяком случае.

Мы уже верст семьдесят отъехали от Покровского, было около шести часов вечера, самое приятное время, – время, когда от гор уже спускается на реку тень, когда прохладно, но солнце еще на небе и золотит еще своими яркими лучами, и небо прозрачное, нежно-голубое, и даль воды, и зелень гор.

Я и доктор сидели на палубе и работали, когда торопливо спустился с своей рубки капитан и слегка взволнованно обратился к нам:

– О Желтуге вы слыхали?

– Ну, конечно.

– Вот она.

– Где, где?

Мы жадно поднялись с своих мест, всматриваясь в китайский берег. Между двух гор, в незаметном сразу ущелье показались какие-то домики, обнесенные забором. Это и есть устье Албазихи, в которую впала Желтуга. На берегу китайский городок. Верстах в двадцати выше по этой реке и был центр знаменитой Желтугинской республики. Там и добывали хищническим образом китайское золото жители всех стран, но по преимуществу китайцы и русские.

Население республиканской Желтуги достигало до 12 тысяч жителей. Основатель ее – наш интеллигент из судебного мира. Каждый 20 человек имели своего выборного, и этот выборный имел свое ближайшее начальство.

Во главе стоял выбираемый общим собранием старшина. Старшина этот получал 12 тысяч. Жалованья у всех были крупные: было из чего платить – вырабатывали на человека до 20 золотников, то есть до 150 рублей в день.

Наш капитан сам был и работал в Желтуге. За шесть месяцев он вывез чистых 8 тысяч рублей. При этом за фунт сухарей приходилось платить золотник золота: других денег там не было.

– Вы сами работали?

– Но там все сами работали.

Состав был самый разнообразный: беглый каторжник, студент университета, чиновник, он – наш капитан – жили и работали вместе. Нарытое золото оставляли в незапертой лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцовый. Содержалась громадная полиция из конных маньчжур. Законы Линча – короткие и суровые. За смерть – смерть. За воровство – наказание плетью и вечное изгнание из республики...

– Вот, вот на этом месте, на льду, и происходили все экзекуции. – Капитан показывает рукой.

Мы вплоть проходим около китайского городка. Он постройками не отличается от наших сел: окон только больше и окна больше, из мелких рам, с массой маленьких стекол. Много решетчатых и резных украшений, но редкий дом открыт. Большинство же с улицы скрыто за забором из частокола. Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные. Ни одной китаянки ни в окне, ни на улице.

Русских не видно, а в наших селах китайцев больше иногда, чем русских.

– Вся Желтуга в золоте, от самого устья. Теперь китайцы там машины поставили. Во главе предприятия Ли-Хун-чан.

Сколько таких приисков, где русские разыщут золото, а китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет... Вот долинка перешла и на нашу сторону – прямое продолжение, а золота нет.

Я говорю капитану:

– А теперь есть какая-нибудь новая Желтуга?

– Нет, следят. Вот проведем дорогу, будет Маньчжурия наша, бросаю опять капитанство и иду.

– В новую республику?

– Обязательно.

– Понравилось?

– Забыть нельзя.

– Нам дайте телеграмму, – говорит доктор, – тоже приедем.

Капитан, красивый, лет тридцати пяти, среднего роста человек: очевидно, житель Сибири, по-американски готовый всегда взяться за то дело, которое выгоднее или больше по душе.

– А отчего вы ушли оттуда, капитан?

– Начались преследования. Сперва мы дали было отпор китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские войска пришли, решено было сдаться. Я-то раньше ушел: кто досидел до конца, тот должен был оставить и имущество и золото китайцам. Уходили только, в чем были. Золото китайцы взяли, а дома сожгли. Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы (до трехсот жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали косы себе, но, конечно, это не помогало. Где-то есть фотографии расправы китайских войск со своими подданными: целыми рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили головы. По одну сторону дерева головы, по другую – тела. Там насчет этого просто.

– По поверью китайцев, он без косы и в свой рай не попадет, – тащить его не за что будет?

– Хотя косы, собственно, не религиозный знак, а признак подданства последней маньчжурской династии. А это поверие относительно рая у китайских масс действительно существует.

Мы плывем и плывем. Горы всё меньше и меньше. Это уже не горы, а холмы. Все больше и больше низин, поросших мелким лесом. Вероятно, почва годится для культуры, но та же пустыня и у китайцев и у нас.

Настал вечер, и мы остановились у сравнительно высокого и скалистого берега. В нежном просвете последних сумерек, на фоне бледно-зеленоватого неба, видны в окна на выступе берега отдельные деревья, две-три избы, сложенные дрова.

Мы берем дрова, и треск и грохот падающих на железную палубу дров гонит нас из каюты.

На берегу горят костры, освещающие путь носильщикам дров. Русские и китайцы носят. Русские несут много (до полусажени двое), китайцы половину несут. Из мрака вырисовывается вдруг, при свете костра, такое лицо китайца, желто-бледное, с широко раскрытыми от напряжения глазами, и вся фигура его, притиснутая непосильной тяжестью. Но в конце концов китайцы кончили свой урок раньше русских: они быстрее носили...

Доктор, Н. А. и А. П. взобрались на верх утеса, развели там огонь и сидят. Свет костра падает на их лица, и лица эти рельефно и мертвенно вырисовываются во мраке ночи... Встал доктор и запел «Проклятый мир» и «...и будешь ты царицей мира» эффектно, сильно и красиво, но вряд ли доступно уху аборигенов. Китайцы, впрочем, любят пение, и гла-

зенки нашего Байги каждый раз разгораются, когда доктор берется за свою гитару. Ужинать позвали. С выезда из России первый раз ем порядочно. Было два блюда всего – суп и котлеты, но и то и другое по крайней мере можно было есть: просто и вкусно. Готовила какая-то простая кухарка, средних лет, с красивыми, но уже поблекшими глазами. В этих глазах какая-то скорбь, что-то надорванное и недосказанное. Когда доктор поет, она замирает где-нибудь за углом и вся превращается в слух.

Байга счастлив и носится. Угостил Н. А. вместо воды водкой, и на его обычный отчаянный вопль, точно его режут (вероятно, ребенком он так закатывал на каждый довод своей няни), Байга только корчит ему свои уморительные рожи.

Капитан сообщил неприятную новость: на ближайшем перекате нас пересадят на другой буксирный пароход «Адмирал Козакевич» – родной брат, впрочем, по конструкции с нашим.

Неприятность в том, что придется простоять по этому поводу до утра.

Так и случилось: пришли на перекат, где ждать нам пароход, часов в пять вечера, и бросили посреди реки якорь.

С горя занялись стрельбой в цель: бросали в воду бутылки и стреляли в них. Карабин Маузера оказался вне конкуренции. Получили, как и у казаков, так и здесь, несколько предложений продать его. Оказывается, что во Владивостоке цена ему семьдесят рублей, тогда как я заплатил в Петербурге тридцать шесть рублей. Если и во всем такая же разница, то, несмотря на порто-франко⁴, вплоть до Иркутска от Владивостока, расход на перевозку купленного, пожалуй, оправдается.

Странное это порто-франко, на протяжении четырех тысяч верст в глубь страны: тут ли не быть дешевой жизни, а между тем нет в мире более дорогого уголка.

– Дорого, как в игорном доме, в этой Сибири, – отозвался как-то о здешней Забайкальской Сибири один чиновник, – сторублевка – не деньги.

Чей-то товар выгружается, какого-то злополучного, отсутствующего хозяина. Не ждать же его.

– Эй, кто желает за счет хозяина выгружать?

– Давай, – неторопливо встает с бревна казак, представитель артели, ожидавшей давно настоящего случая.

– Сколько слупите? – завистливо осведомляется у него команда.

– Небось не ошибемся.

– Копеек десять?

– Да, а кто меньше ему сделает?

Прогрессирует ли жизнь при таких условиях? Выдерживает, конечно, только скупщик и сбытчик краденого или хищнического золота. Да китайцы.

Мы разговариваем с капитаном о перекатах и мелях, препятствующих судоходству по Амуру.

Деятельность в этом отношении министерства путей сообщения только начинается. В прошлом году пришли две землечерпательные машины (что значат эти две машины на тысячи верст?), но все лето простояли где-то на мели. В этом году они готовят себе зимний затон.

Расставили было створы, наметили фарватер, но прошлогоднее, совершенно исключительное наводнение весь фарватер изменило, и теперь никто уж не руководствуется установленными сигналами.

– Теперь все старые лоцмана насмарку, – вся наука теперь яйца выеденного не стоит.

⁴ беспошлинный провоз (*итал.*).

Целый класс людей насмарку! Хорошо, кто вновь успеет пройти эту науку, а для многих это уже отставка, и без пенсии.

В этом году особое мелководье, и пароходчики после хороших лет льют теперь горькие слезы.

Мелководье и полноводье чередуются здесь, по наблюдениям местных жителей, пятилетием: пять лет полноводных, за ними пять мелководных.

Если хорошенько во все это вдуматься, то, пожалуй, что во всех отношениях, и политическом, и экономическом, и военном, железная дорога необходима для этого края протяжением две с половиной тысячи верст от Сретенска, с Владивостоком в конце, где теперь сосредоточивается столько интересов наших.

И как бы ни противились сторонники центра, но в интересах того же центра железная дорога в наши дни нужна так же окраинам, как и центру, как нужны солнце, воздух всем...

Вопрос здесь только в том, как на те же деньги выстроить как можно больше дорог. И, более чем когда бы то ни было убежденный, я говорю, что в глубь Сибири надо строить узкоколейную дорогу, — мы ничего не потеряем в провозоспособности и силе тяги, а истратим денег много меньше. И, конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас существовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы всегда дело к какой-то мелочной торговле — к покупке фунта сахара только на сегодня.

Ошибка, простительная людям сороковых годов, когда была принята у нас не более узкая колея, подходящая более к карману, а более широкая, подходящая более к крепостнической ширине тех времен, повторяется к в наши дни, когда, при желании решить правильно вопрос, есть все данные из теории и фактов для рационального его решения...

Довольно.

Синее небо — мягкое и темное — все в звездах, смотрит сверху. Утес, «салик», обрывом надвинулся в реку, ушел вершиной вверх; там вверх, сквозь ветви сосен, еще нежнее, еще мягче синева далекого неба.

Все на палубе приникло и слушает нашего певца. На этот раз репертуар подошел ближе и захватил слушателей.

Новые и новые песни. Вот тоска ямщика, негде размыкать горе, и несется подавленный, сжатый тоской отчаянья припев: «Эй, вы, ну ли, что заснули? шевелись живей, — воронье, золотые...»

Все слушает больше молодой, сильный народ, со всяким бывало, и песня, как клещами, захватила и прижала их: опустили головы и крепко, крепко слушают.

Доктор кончил, и из мрака вышел какой-то рабочий. Протягивает какие-то ноты и говорит:

— Может быть, пригодится: Шуберта...

— Благодарю вас, — говорит доктор и жмет ему руку.

Ответное пожатие рабочего, и он уж скрылся в толпе.

Кто он? Да, в Сибири внешний вид мало что скажет, и привыкший к русской градации в определении по виду людей сильно ошибется здесь и как раз миллионера золотопромышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скромной личиной чернорабочего пропустит европейски образованного человека.

12 августа

Все боялись, что рано потревожат для пересадки, но проснулись в восемь часов, и все тихо. Напились чаю, вышли на палубу.

— Когда пересадка?

— Да вот...

Занимались, пообедали, кто уснул и выспался, когда наконец предложили переходить на другой пароход. Перешли и в пять часов поехали дальше.

Прежний капитан, прощаясь с нами, говорил:

– Послезавтра к вечеру будете в Благовещенске.

Но человек предполагает, а бог располагает.

Проехали двадцать верст и сели на мель: на полном ходу, с размаху мы врезались в эту мель. По гравелистому дну реки скользнуло железное дно нашего парохода – загрохотало, рывкнуло, и пароход сразу стал.

Плохо, что при этом нас как-то нехорошо – поперек течения – повернуло: оплеухой, как говорится здесь.

Мы перегнулись и печально смотрим в воду. Колесо и часть середины на мели, и дно мели едва покрыто водой. Но под кормой глубоко, как глубоко и с другой стороны, и мы можем изломаться, опрокинуться, котел не выдержит и взорвет...

День к концу, новый месяц в небе, солнце мирно садится и, прощаясь, красными печальными лучами смотрит оно на нас, бедных странников Сибири.

13 августа

Утро. Туман. Мы стоим на мели. Вокруг нас блестящее общество: так же, как мы, сидящий уже на мели пароход «Князь Хилков», ожидающий очереди «Граф Игнатьев», еще какой-то генерал, не забудьте, мы сами «Адмирал Козакевич», ждем наконец «Адмирала Посьета», словом, сухопутных и морских деятелей здешнего края достаточно. Теперь они из своих портретов грустно смотрят на нас.

Капитаны пароходов ездят друг к другу с визитами. К нам не ездят, потому что у нас нет буфета, да и провизии нет. За день до нашего крушения наш пароход уже просидел восемь дней на мели, – там и съели всю провизию, и нас кормят теперь тухлой солониной и прогорклым и испорченным маслом. Мы по-прежнему всё бьемся, – освободим нос, корма увязнет, освободим корму, нос увязнет. Совершенно без всякого толку, как-то поперек реки ползет какой-то новый пароход. Царапается он чуть не по суху: завезет якорь и тянется. Заднее колесо отчаянно вертится, разбрасывая желтую пену и камни.

– И куда он только лезет, дурак махровый? – ругаются наши матросики, – вот попадет на эту струю и снесет на нас: тогда на неделю засядем.

В это время какой-то пароход, не обращая внимания на все здешнее общество, проходил наш перекат у другого берега полным ходом и совершенно благополучно.

Афронт и вместе с тем открытие: фарватер, как оказывается, есть и к тому же согласуется и с теорией всех фарватеров.

После, этого все капитаны снимаются с якорей и собираются разойтись в разные стороны, кому куда лежит путь.

А новый пароход между тем, перековыляв через мель, действительно ввалился в ту струю, о которой говорили матросики, и, прежде чем мы успели оглянуться, его снесло на наш стальной канат, соединявший наш пароход с берегом и служивший нам подспорьем для снятия самих себя с мели. Для себя навалившийся пароход счастливо отделался, но наши носовые крепи, за которые канат был укреплен, не выдержали, и стальной канат, свободный теперь в носовой части от крепи, стал рвать и ломать наши буксирные арки, перила и, наконец, левую колонну, поддерживающую верхнюю рубку. В этой рубке помещались каюты служащих, кухня.

Все это сопровождалось треском и пальбой, как из пушек, криками метнувшейся в разные стороны команды и диким воплем женской прислуги, и длилось одно и очень короткое мгновение. А затем поверка и осмотр наших разрушений и веселое сознание, что все целы, живы и здоровы.

Все в духе, возбуждены, и то, что новый пароход окончательно и безнадежно втиснул нас в самую сердцевину мели, то, что вокруг, до середины парохода обнажилась сухая отмель гравия – никого больше не тревожит.

Так как это уже авария, то мы и даем теперь отчаянные свистки о помощи. Не успевший уйти «Граф Игнатъев» уныло отвечает и остается нас вытаскивать.

К вечеру навалившийся на нас пароход, наконец, благополучно скрывается на горизонте. Вместо него появляется пассажирский «Адмирал Посъет».

Он осторожно, в версте, бросает якорь и на лодке едет к нам в гости (не к нам, собственно, а к «Графу Игнатьеву»).

Наш капитан, неутомимый работник, пробегает мимо и весело кричит:

– Если канат выдержит, сейчас снимемся. Роковое если...

Канат с пушечным выстрелом рвется, и вся работа дня опять насмарку, потому что нас мгновенно опять относит на прежнее место, а может быть, и на худшее.

– Не везет, – разводит руками капитан.

– Слава богу, что все целы.

Оказывается, впрочем, не совсем все: у двух ноги перебило или помяло, у третьего, китайца, ребра.

Наш доктор возится уже с ними.

Ко всему дождь, как из ведра весь день, и мы все промокли, и сыро так, как будто бы мы уже сидим на дне реки. Вечер и ранний туман. Где-то далеко выдвинулась из мрака гора, и, освещенная отблеском зари, она кажется где-то в небе, светлое облако на этой горе – источник света.

Мы в каюте. Ленивый разговор о прошедшем дне: поломки больше, чем думали сначала, – не только на корме, но и на носу сорвало все. Цепь на руле лопнула, ослабели блоки рулевые, что-то в машине, и поломаны колеса, дрова на исходе и нет провизии. Ездили за ней на другой пароход, но нигде ничего нам не дали.

– На завтра хлеба больше нет, – говорит кухарка, – завтра – сухари.

– Доктор, – говорит Н. А., – если вы мне не дадите кали бромати, я кончу тем, что двум сразу в морду дам...

– Не советую, – методично отвечает доктор. – И, помолчав, говорит: – Побьют.

Но Н. А. отчаянно машет рукой и говорит:

– Пусть бьют, а все-таки дам.

Разговор обрывается вдруг появлением Н. Е. Б. Общий радостный крик.

Он приехал на пароходе «Посъет».

– Ну, как же вы?

Н. Е. сел, пригнулся, по обыкновению, и смотрит, точно соображает, как же действительно он?

– Да ничего.

– Много дичи настреляли?

– Да я ведь не дичь стрелял, а рыбу ловил. Я ведь двенадцать сомиков поймал. Прихожу: уехали, говорит хозяйка. Я так и сел. Вот тебе и раз, думаю. Дал с горя себе слово никогда не удить рыбу.

– Ну?

– Ну, тут пришел Р.: объяснил. Я с горя и курить начал.

Н. Е. в доказательство смущенно вынул и показал коробку папирос.

– Ну, как же вы доехали?

– Доехал, положим, хорошо. Р. – хороший он человек – сейчас же повел меня на пароход, представил всем.

– Дамы были?

Н. Е. отвечает не сразу, улыбается и нерешительно говорит:

– Были.

– Смотрите, смотрите, – говорит доктор, – он весь сияет.

Совсем юное еще лицо Н. Е. действительно сияло. Голова его слегка ушла в плечи, он сидит и словно боится пошевелиться, чтобы не разогнать приятных воспоминаний. Только глаза, красивые, лучистые, смотрят, не мигая, перед собой.

– Ну, рассказывайте же, молодой тюлень, – кричит доктор.

– Да что рассказывать, – медленно, не торопясь начинает Н. Е., – видите, в чем дело.

Ехала на том пароходе одна дама.

– Гм... дама, – басом перебивает доктор и крутит усы.

– Да не дама... дочь у нее, – смущенно дополняет Н. Е.

– Дочь?... Черт побери.

– Четырнадцати лет.

– Что? Ха-ха-ха. Вот так фунт...

– Такая симпатичная, просто прелесть. Мы с ней рыбу удии.

– После зарока-то?

Н. Е. совсем смущен. Мы все хохочем.

– Да вот, – разводит он смущенно руками, – так уж вышло... Рыбы много... Только успеваешь закидывать удочки... И так еще: сомик сорвется, а какая-то рыбушка боком на крючке. Три раза так вытаскивали. Я нигде никогда столько рыбы не видал...

– У нас нынче Н. А. из револьвера застрелил рыбу.

– А вот скоро кета пойдет, – здешняя рыба, – с моря; она прямо стеной плывет, одним неводом их до двух тысяч пудов вытаскивают враз.

– В пятнашки с ней играли, – говорит тихо Н. Е.

– С кем? С кетой? Да он совсем влюблен, – орет доктор, – нет, ему песни надо петь.

Доктор снимает гитару и говорит:

– Ну, слушайте.

Он поет, а Н. Е. так и замер.

– Хорошо?

– Хорошо, – чистосердечно признается Н. Е. и улыбается.

Белые зубы его сверкают, глаза видят другой свет.

– Да ну вас к черту, уходите, – смотреть завидно...

– И то: ехать пора.

– Да как же вы поедете?

– Да вот: свезут на берег, а там версты две берегом... трава высокая по пояс, да мокрая...

– А как вы спите без подушки, одеяла?

– Так и сплю, – теперь ящик какой-то под голову.

Как мы его ни удерживали, как ни пугали барсами и тиграми, Н. Е. ушел.

Дождь будет мочить его, будет один он пробираться темной ночью в мокрых камышах.

Что ему дождь, камыши, тигры? Весь охваченный пенем и памятью встречи, он будет идти, и кто знает, эта прогулка не будет ли лучшей в его жизни?..

– Экая прелесть, – говорит доктор после ухода, – сколько ему лет?

– Двадцать два.

– Завидно, ей-богу.

– Да вам-то много ли?

– Двадцать пять, – грустно вздыхает доктор.

Опять заглянул Б.:

– А, может быть, хотите на наш пароход ехать? Я скажу капитану. Только мест нет.

Пока выхода не было, казалось, хоть на лодке, лишь бы ехать дальше. А теперь жаль: жаль сурового здесь життя нашего, жаль в бою побывавшего нашего изломанного парохода, команды, молодого капитана, энергичного, трудолюбивого, на которого шишки невзгод так и валяются отовсюду: в это лето девятый раз сидит на мели.

Но благоразумие берет верх, и мы решаем наутро перебраться к «Посъету». Мест, правда, нет, – будем на полу где-нибудь в столовой спать.

– Так, значит, до скорого свидания?

– Спокойной ночи.

14 августа

Наш молодой капитан неутомим. Всю ночь возился и теперь носится по палубе, своими длинными ногами делая громадные шаги. Совсем было выправил нос «Игнатъев», но опять оборвался канат, и мы, как-то перевернувшись на 180°, врезались опять в ту же мель. Ну и канат...

Плохо, «Посъет» прошел мимо на всех парах... А должен нас взять: во-первых, у нас авария, во-вторых, оба парохода того же общества. Не взял... Что ж? С горя работать. Спустились в каюту и засели кто за что.

И вдруг, когда, казалось, всякая надежда исчезла, что-то произошло, и неожиданно всунулась в каюту нашу голова капитана.

– Снялись...

Это было так хорошо, что вопрос, как снялись, был второстепенным.

Мы бросились наверх. Прекрасный день, светит солнце, покачиваясь уже на глубине, стоит наш пароход, а подальше «Игнатъев».

– Поздравляем вас, капитан.

– Это не меня – это капитана «Игнатъева» надо поздравить: таких товарищей, как он, редко встретишь.

«Игнатъев» скоро ушел. А часа через три, починившись кое-как, пустились и мы в путь.

Правый берег – маньчжурский. Хотя победителями всегда были маньчжуры и всегда китайцев били, но китайцы шли и шли, и теперь культуру маньчжур бесповоротно сменила китайская стойкая, все выносящая культура. Последние вольности маньчжуров отбираются одна за другой, и некогда всемогущая родина последней династии, теперь она только ничтожная провинция в сравнении с остальным громадным Китаем.

Маньчжуры напоминают наших казаков Сечи. Такие же бритые, с длинными усами, мужественные и мрачные. Но их теперь уже так же мало, как и зубров Беловежской пуши. Все проходит...

Кучка матросов разговаривает.

Все это уже знакомые люди: вот стоит кузнец, в светло-голубой грязной куртке, таких же изорванных штанах, жокейской шапочке, громадный, с крупными чертами лица, с умными большими глазами. Другой матрос, тоже громадный, в плисовых штанах, рубашке навыпуск, высоких сапогах, с большой окладистой рыжевато-бородой. На матроса не похож: скорее на русского кучера, когда, отпрягши лошадей, свободный от занятий, он выходит поговорить на улицу.

Третий, маленький, тоже русский, в пиджаке и высоких сапогах, с лицом, испещренным оспой, и мелкими, как бисер, чертами.

– Это что за горы – гнилье, этот камень никуда не годится, – говорит кузнец, – так и рассыпается... Горы за Байкалом... Идешь по берегу, и нельзя не нагнуться, чтобы поднять камешек, набьешь полные карманы, а впереди еще лучше. Высыпешь эти, новые начнешь набирать...

Это мирное занятие не подходит как-то ко всей колоссальной и мрачной фигуре кузнеца.

Разговор обрывается.

Переселенцев вовсе мало нынче: только и плывут на плотях. То и дело мимо нас плывут такие плоты, большие и маленькие. Стоят на них телеги, живописные группы мужчин, женщин, детей, лошади, коровы. Огонек уютно горит посреди плота.

Наш пароход разводит громадные волны для таких плотов, и их качает, и усиленно гребут на них.

Эти плоты дойдут до Благовещенска, где и продадут их переселенцы, выручая иногда за них двойные деньги.

– Что, второй пароход всего с переселенцами. А назад едущих довольно...

– Земель мало? – спрашиваю я.

– По Зее есть... не устроено... кто попадет на счастье, а кто мимо проедет, никто ничего не знает...

Это бросает, как бьет молотом, кузнец.

– У вас ввели мировых? – спрашиваю я.

– Ввели.

– Довольны?

– Если не испортятся, ничего.

– Как испортятся?

– Как? Взятки станут брать... Русскому человеку, бедному,дохнуть нельзя, а китайцам – житье. Закона нет жить им в Благовещенске, а половина города китайская... Грязь, как в отхожем месте, у них: ничего...

– Нечистоплотны?

– Падаль едят, конину, собак – грязь... тьфу... Водкой своей торгуют.

– Тайком?

– А так... дешевая и вдвое пьянее нашей... Сейчас напейся, – сегодня пьян, а завтра выпей натошак полстакана простой воды, и опять пьян на весь день... ну и тянется народ за ней... Китаец всякому удобен... Положим, не торопи его только – он все дело сделает. А против русского втрое дешевле... Опять русскому должен – надо отдать... Если по шее ему, и он сдачи умеет дать; а китайцу дал по шее да пригрозил полицией, – уйдет без всякого расчета и не заикнется...

Молчание.

– И вот какое дело, – говорит кузнец, – совсем нет китайских баб. Китайцев, ребятишек – все мальчишки, а баб нет; штук десять на весь Благовещенск не может же десять их такую уйму народить? И вот я в ихней стороне пробирался и чуть под пулю не попал, – у них это просто, – и в фанзах ихних мало баб...

– Прячут от нас, боятся обиды, – глубокомысленно вставляет с мелкими чертами лица матрос.

– Положим, – говорит кузнец, – нельзя и нашего брата хвалить. Не то, что уж на своей стороне, а на ихней без всякого права заберется к ним, то за косу дернет, то толкнет, то к бабам полезет... А ведь китаец, когда силу свою чувствует, – его тоже не тронь...

Кузнец мотает головой.

– В какую-нибудь ночь да выйдет же от китайцев резня в Благовещенске: все счета свои сведут... И откуда они только берутся: батальон, два в другой раз вышлют на облаву, всех к реке их, прочь на свою сторону, а на другой день еще больше их...

– Ну, так как же? Чем бы полиция кормилась? Для этого и гонят, чтоб потом опять пустить.

Все те же щи из тухлой солонины на обед и та же, жаренная на горьком масле, солонина.

– Яиц нет?

– Нет.

– Молока?

– Ничего, кроме солонины и сухарей.

Вечером пристали к деревушке. Нашли две курицы, пять бутылок молока. Больше во всей деревне ничего.

– Как же вы живете?

– В прошлом годе наводнением все смыло, нынче посохло, да вот падеж... Год без падежа редко же пройдет... Где бы и посеяли и увеличили бы пашню, что ж поделаешь без скотины? То и дело наново, дочиста обзаводись...

15 августа

Сегодня пошли с четырех с половиной часов утра; тумана почти не было. Идем хорошо и хотим, кажется, на этот раз без приключений добраться до Благовещенска.

Доктор лежит и философствует.

Я смотрю на него и думаю: тип ли это девяностых годов если не в качественном, то в количественном отношении. Он кончил в прошлом году. Практичен и реален. Ни одной копейки не истратит даром. Ведет свой дневник, педантично записывая действительность. Ест за двоих, спит за троих. Решителен в действиях и суждениях. Знаком с теорией, симпатии его на стороне социал-демократов, но сам мало думает о чем бы то ни было. Вообще все это его мало трогает. То, что называется квиетист.

– Да-с, господин хороший, – рассуждает он на своей койке, – как у швейцарцев? Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха... Ну-с, так вот и мы нашу жизнь устроим: семь, ну, черт с ним, девять месяцев работы, а три мои... Пожалуйста, отец диакон, денежки на кон – в Италию... Хорошие места... в Венеции: часовенка на Пиаццете... Этак лежишь, а публика проходит... Пансионерочка какая-нибудь пустит бумажку в тебя и бежит... Из сорока – тридцать красавицы. Песни, воздух: хорошо...

– Ура... Благовещенск! – кричит сверху Н. А.

Мы бросаемся на палубу.

Оба берега Амура плоские, и горы ушли далеко в прозрачную даль.

Благовещенск как на ладони, – ровный, с громадными, широкими улицами, с ароматом какой-то свежей энергии: он весь строится. Впечатление такое, точно город незадолго до этого сгорел. И как строятся! Воздвигаются целые дворцы. Люди, очевидно, верят в будущность своего города.

Положим, в сорок лет город дошел до сорока тысяч населения, являясь центром всей золотой промышленности.

На слиянии Амура и Зеи, против того места Маньчжурии, где наиболее густо население ее.

Пока дела Маньчжурии минуют Благовещенск, но говорят, что с окончанием постройки Маньчжурской дороги вся торговля перейдет в руки русских купцов...

Все во всей Сибири рассчитывают на эту Маньчжурию, от купца до последнего рабочего, и кузнец нашего парохода говорит: – Вот бог даст... Эх, золотое дно...

21 августа

Мы выехали из Благовещенска 19-го.

Пароход наполнен пассажирами, которых раньше мы всех обогнали на лошадях. Теперь они удовлетворенно посматривают на нас: «Что, дескать, обогнали?»

Мы в роли побежденных покорно сносим и приветливо смотрим на всех и вся.

Впрочем, редко видим их, заняты каждый своим делом.

Редко видим, но знаем друг о друге все уже. Кто об этом говорит нам? Воздух, вероятно, пустота Сибири, где далеко все и всех видно. Это общее свойство здешней Сибири: народу мало, интересов еще меньше, и все всё знают друг о друге.

Как бы то ни было, но я знаю, что рядом, например, со мной в такой же, как и моя, двухместной каюте едут две барышни. Одна в первый раз выехавшая из Благовещенска в Хабаровск. Она робко жмет к своей подруге и краснеет, если даже стул нечаянно заденет. Известно, что при таком условии все стулья всегда оказываются как раз на дороге, и поэтому здоровая краска не сходит с ее щек.

Это, впрочем, делает ее еще более симпатичной. Вторая – бестужевка. Она едет из Петербурга в Хабаровск учительницей в гимназию. Большие серые глаза смотрят твердо и уверенно. Стройная, сильная фигура. Спокойствие и уверенность в себе и своей силе. Она одна проехала всю Сибирь: для женщины, а тем более девушки, – это подвиг.

– Где счастье? – спрашивает ее кто-то на палубе.

– Счастье в нас, – отвечает она.

Я слышу ее ответ и смотрю на нее. Она спокойно встречает мой взгляд и опять смотрит на реку, берег.

Широкая раньше и плоская долина Амура опять суживается. Снова надвигаются зеленые холмы с обеих сторон. Это отроги Хинчана. Здесь уже водятся тигры, и взгляд проникает в таинственную глубь боковых лощин. Но старого леса нет и здесь: не защитили и тигры, и всюду и везде только веселые побеги молодого леса.

Садится солнце и изумительными переливами красит небо и воду. Вот вода совершенно оранжевая, сильный пароход волнует ее, и прозрачные, яркие, оранжевые волны разбегаются к берегам. Еще несколько мгновений, и волшебная перемена: все небо уже в ярком пурпуре, и бегут такие же прозрачные, но уже ярко-красные, блестящие волны реки. А на противоположной стороне неба нежный отблеск и пурпура, и оранжевых красок, и всех цветов радуги. И тихо кругом, неподвижно застыли берега, деревья словно спят в очаровании, в панораме безмятежного заката.

За общим ужином молодой помощник капитана рассказывает досужим слушателям о красоте и величине местных тигров, барсов, медведей.

Медведи здешних мест, очевидно, большие оригиналы: перед носом парохода они переплывают реку; однажды, во время стоянки, один из них забрался даже в колесо парохода.

– И что же? – с ужасом спрашивает одна из дам.

Доктор грустно полуспрашивает, полуотвечает:

– Убили?

Смех, еще несколько слов, и знакомство всех со всеми завязано.

Потерянное время торопятся наверстать. После ужина доктор поет, Н. А. играет, он же по рукам определяет характер и судьбу каждого. Он верит в свою науку и относится к делу серьезно. Одну за другой он держит в своих руках хорошенькие ручки и внимательно рассматривает ладони. Чем сосредоточеннее он, чем больше углубляется в себя, тем сильнее краснеют его уши. Они делаются окончательно багровыми и прозрачными, когда одна из дам, у которой оказался голос и которой он взялся аккомпанировать, совсем наклонилась к нему, чтоб удобнее следить за его аккомпанементом.

После пения он встал, как обваренный, поводит плечами и тихо говорит кому-то:

– Жарко...

Раз уже зашла речь об обществе, долг автора представить его читателю.

Оно состоит из четырех дам, двух господ и нас.

О двух дамах я уже говорил. Прибавить остается, что учительница оказалась тоже сведущей в трудной науке хиромантии и читает по рукам судьбу человека. Но Н. А., очевидно, опытнее ее и с своим обычным деловым видом сообщает барышне разные тонкие детали этой науки. Такой-то значок указывает на то, что человек утонет, а такой-то – удар в голову. Барышня слушает его внимательно, вежливо, с какой-то едва уловимой улыбкой.

Две других – дамы...

Я боюсь погрешить. Из своей каюты я слышал разговор каких-то дам: эти ли, другие – я не знаю.

Речь шла о выкройках, кружевах, вязанье. Долго говорили... энергично, бойко, с завидной энергией жизни... В другой раз я слышал их: лениво одна из них... как бы это выразиться поделикатнее... ну, разбирала, что ли, членов своего общества.

Мелко, все это мелко, как зернышки проса, которые сытая курочка поклевывает. И, опять повторяю, я слышал, но не видел и не знаю, кто были эти дамы. Может быть, заходившие к нам иногда пассажирки второго класса.

Те же две дамы нашего общества, с которыми я познакомился, были несомненно очень милые дамы, именно «нашего общества».

Одна, постарше и посановитее по мужу, уже десять лет проживающая в Сибири, другая, совсем молоденькая, приехавшая прямо с юга – Крыма или Кавказа – попала сюда два-три месяца всего назад, никогда не видала зимы и ждет ее. Ждет так же пассивно, как смотрит на весь божий мир.

Двадцать два года, хорошенькая, но уже располнела и, вероятно, будет и дальше полнеть.

Обе дамы очень дружны, и их звонкий смех то и дело несется то с палубы, то из столовой... Каждый день эти дамы в новых костюмах, причем от простых искусно переходят к более и более сложным. С костюмами меняются и духи.

Здесь, в Сибири, масштаб большой, и тяжелый запах духов пропитал столовую и гостиную парохода.

Младшей даме кажется, что она еще никогда никого не любила, а между тем по руке выходит, что ей трижды, с большими треволнениями, предстоит познать эту любовь. И лицо ее в это мгновение, когда Н. А. усердно ей гадает, – типичное лицо Кармен, когда по картам той выходит смерть и она мрачно смотрит и повторяет: «Смерть, смерть».

Старшая дама тоже интересуется своей судьбой. Она верит всяким гаданьям. Однажды тетя возила ее к гадалкам. В первый раз они не застали гадалку дома, во второй застали, и она все, все рассказала, и все так верно... У гадалки совсем не страшно: иконы, свеча и никакой, решительно никакой, как говорится, чертовщины.

Она протягивает свою, все еще красивую ручку Н. А.

Н. А. сосредоточивается:

– Ваша жизнь раздвоена...

– То есть как?

– В смысле чувства.

– Что? что? Ха-ха... Вот сообщу мужу...

Дама все-таки, кажется, обиделась и рано ушла спать. Сегодня она, впрочем, уже опять гуляет мимо окон моей каюты, улыбается и возбужденно что-то рассказывает учительнице.

Та вежливо слушает эту даму.

Вчера вечером мы с учительницей немного поговорили, – она верит в жизнь, в свою энергию, верит в возможность производительной работы, будет работать для других, для себя, через три года поедет за границу.

Свободная вакансия оказалась только по немецкому языку, который она и взялась преподавать. Будет преподавать язык, а вместе с тем литературу, историю литературы и новейшую.

Все те же зеленые безжизненные берега. Они то сходятся в складки и отдельными зелеными холмами, как наросты, жмутся к реке, то вдруг раздвинутся и уж где-то далеко, в сизой дали, иззубривают горизонты. Тогда сюда, ближе к реке, подходит плоская равнина, низменная, мокрая, поросшая разной негодной зарослью.

Впала Уссури. Амур стал шире Волги у Самары и грозно плещется.

Китайцев все больше и больше. Здесь они старинные хозяева. Они уже однажды владели этим краем и бросили его. Возвратились вторично теперь, потому что в нем поселились те, у которых есть деньги. Эти «те» – мы, русские. Откуда наши деньги? Из России: за каждого здешнего жителя центр приплачивает до сорока рублей. Китайцы гребут эти деньги, без семейств приходя сюда и в том же году отнеся эти деньги туда, в Чифу, на свою родину, опять возвращаются в Россию с пустыми уже карманами, но с непреодолимым решением снова набить эти карманы и снова унести деньги домой.

Все идет, как идет.

Вчера за обедом местный интеллигент говорил:

– Китаец, Китай... Это глубина такая же, как и глубина его Тихого океана... Китаец пережил все то, что еще предстоит переживать Европе... Политическая жизнь? Китаец пережил и умер навсегда для этой жизни. Это игрушка для него, и пусть играет ею, кто хочет, – она ниже достоинства тысячелетней кожи археозавра-китайца: его почва – экономическая и личная выгода... С этой стороны нет в мире культуры выше китайской... То, что человечеству предстоит решать еще, – как прожить густому населению, – китаец решил уже, и то, что дает клочок его земли, не дают целые поля в России... Что Россия? Китай – последнее слово сельской культуры, трудолюбия и терпения... Мы не понимаем друг друга. Мы моемся холодной водой и смеемся над китайцем, который моется горячей. А китаец говорит: «Горячая вода отмывает грязь, – у нас нет сыпи, нет кожных болезней, а холодная вода разводит только грязь по лицу». Платье европейца его жмет, и китаец гордится своим широким покроем. Китаец говорит: «Европеец при встрече протягивает руку и заражает друг друга всякими болезнями, – мы предпочитаем показывать кулаки».

Известно, что китайцы здороваются, прижимая кулаки к своей груди.

Интеллигент продолжал:

– Китаец культурнее и воспитаннее, конечно, всякого европейца, воспитанность которого, вроде англичанина, сводится к тому, что, если вы ему не представлены и если вы тонете, а ему стоит пошевелить пальцем, чтоб спасти вас, – он не пошевелит, потому что он не представлен. И поверьте, у китайца свободы больше, чем где бы то ни было в другой стране. Несносного администратора вы не имеете средств удалить, а у китайцев, чуть лишнее взял или как-нибудь иначе зарвался, быстро прикончат: выведут за ворота города: «Иди в Пекин...» И назад таких никогда не присылают.

– А что вы скажете насчет рубки голов там? Кажется, довольно свободно проделывается это у них? – спросил я.

– Только кажется: попробуй судья отрубить несправедливо голову...

– Правда, что когда случаются возмущения, а европейцы требуют казней, то китайские власти за десять – пятнадцать долларов нанимают охотников пожертвовать своими головами?

– Что ж из этого: китаец не дорожит своею жизнью, – чума, холера, голод и даром съедят...

– Возможен факт, сообщаемый одним туристом, что на вопрос: кого и за что казнят, ему отвечали, что казнят воинов, отбывших свой срок и не желающих возвращаться в свои семейства?

– Вполне возможен: очевидно, мошенник командир не уплатил им жалованья... Все это тем не менее в общем ходе жизни только пустяки...

22 августа

Виден Хабаровск. Где-то далеко-далеко, в зелени, несколько больших розовых зданий – красиво и ново.

– Розовый город, – сказал кто-то.

– Деревня, – поправил другой, – только и есть там, что казенные здания.

Подъезжаем ближе, значительная часть иллюзии отлетает: это действительно большие кирпичные здания – казенные здания, а затем остальной серенький Хабаровск тянется по овражкам рядами деревянных без всякой архитектуры построек.

На пристани множество парных телег, парных крытых дрожек, в пристяжку. Китайцев еще больше: здесь они всюду – на пристани, у своих лавочек, которые двойными рядами, сколоченные из досок, тянутся вверх по крутому подъему. В этих лавочках на прилавках грязно и невкусно лежат: капуста, морковь, арбузы, дыни, груши и яблоки, синие баклажаны и помидоры. Названия те же, что и на нашем юге, но блеска юга нет, нет и существа его – это отбросы скорее юга, все эти бледные, чахлые, жалкие и невкусные фрукты.

В городе музеев, и так как до отхода поезда оставалось несколько часов, то мы успели побывать там. Музей хорош, виден труд составителей, энергия. Прекрасный экземпляр скелета морской коровы. Скелет больше нашей обыкновенной коровы с точно обрубленными ногами и задней частью, переходящей в громадный хвост. Как известно, это добродушное животное теперь уже совершенно исчезло с земного шара. Еще в прошлом веке их здесь, у берегов океана, было много, и они стадами выходили на берег и паслись там. А люди их били. Но коровы не боялись, не убегали, а, напротив, шли к людям и поплатились за свое доверие. Даже и теперь в этом громадном, закругленном, тяжелом скелете чувствуется это добродушие, не приспособленное к обитателям земли.

Чучела тигров, медведей, барсов и рысей, чучела рыб, земноводных, допотопных. Дальше костюмы и чучела всевозможных народностей.

Смотришь на эти фигуры, на эти широкие скулы, втиснутые щелками глаза, дышишь этим тяжелым воздухом, пропитанным нафталином, и переживаешь ощущения, схожие с ощущениями при взгляде на скелет морской коровы: многие из них, собственно, такое же уже достояние только истории. Он и живой с застывшим намеком на мысль в глазах кажется только статуей из музея. Я вспоминаю самоеда Архангельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тундры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры. Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не бодрствование, не конец и не начало – какая-то мертвая полоса и в ней вымирающий самоед. Их тысяча или две, и не родятся больше мальчики...

– Надо, надо мальчиков, – говорит тоскливо самоед.

Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выживают: и мальчики и девочки – все умирают от той же черной оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует новое свое произведение – оно заражается.

Но кто выживает, тот вынослив и водку пьет с годового возраста. Тяжело и уморительно видеть, как, почуяв запах этой водки, маленький уродец высовывает голову из своего мешка. И, если ему вольют глоток в рот, он мгновенно исчезает и уже спит.

В передвижениях этот мешок с его обитателем самоед привязывает к своим саням, и прыгает мешок по снегу, догоняя сани.

Я вспоминаю другого вымирающего инородца, остяка, и его Обь, страну за Томском к северу, необъятную и плоскую, глухую страну, обитатель которой свое жалкое право на существование оспаривает у грозной водной стихии, у хозяина глухой тайги – медведя; где-нибудь, за сотни верст от жилья, встречаясь, они решают вопрос, кого из них двух сегодня будут ожидать дома.

– Если медведь встал на дыбы, – говорит остяк, – медведь мой, – и бросается медведю под ноги.

И пока этот медведь начинает своего врага драть с ног, остяк порет ему брюхо и торопится добраться до сердца. Ничего, что клочьями на ногах висит мясо, медведь уже мертвый лежит на земле.

Но пропал остяк, если умный медведь не встает, на дыбы, а бежит проворно на всех своих четырех лапах, – он сшибет тогда своего врага и задерет его. Не воротится остяк домой, и напрасно будут ждать его голые с толстыми животами дети, истощенная жена, все голодные, изможденные, все в сифилисе, все развращенные негодной по качеству водкой.

Это люди культуры взамен шкур принесли обитателю свои дары...

Хабаровцы, впрочем, пожалуй, могут и обидеться, что по поводу их города, лежащего на сорок восьмой параллели, я вспомнил вдруг о белых медведях и о всей неприглядной обстановке тех стран.

Что еще сказать о Хабаровске? Он основан всего в 1858 году, а назван городом всего в 1880 году. Жителей пятнадцать тысяч. Но, очевидно, это не предел, и город, как и Благовещенск, продолжает энергично строиться.

Торговое значение Хабаровска передаточное – это пункт, от которого с одной стороны идет водный путь, а с другой – к Владивостоку – железнодорожный. Самостоятельное же значение Хабаровска только как центра торговли пушниной, получаемой от разных инородцев. Самый ценный товар – соболь, лучший в мире.

В смысле жизни, в Хабаровске все так же дорого, как и в остальной Забайкальской Сибири...

Жизнь общественная, насколько удалось почувствовать ее, приурочивается к чиновничьим, военным центрам. Памятник графу Муравьеву стоит на самом командующем месте города, виден отовсюду и останавливает на себе внимание своей сильно и энергично поставленной фигурой. Фигура эта с протянутой рукой всматривается в сизую даль той стороны, где граница Китая. И, несмотря на эту твердую решимость, хорошо переданную художником, чувствуется... чувствуется то, что должно чувствоваться в таких случаях, когда смотришь вперед и хочешь увидеть все до конца: чисто физический предел, дальше которого конструкция глаза не позволяет ничего больше видеть.

Это не намек на что бы то ни было – это ощущение художника. Как ни решительна фигура, но необъятная даль захватывает сильнее, и фигура пасует перед ней.

А если мы начнем говорить о понятной аллегории, оставим физику и перенесемся в мир духовный, мир будущих перспектив и последствий содеянного, то там даль еще необъятнее.

Один дал это, другой то – все вместе снова растворили ржавые ворота Чингиз-хана, и теперь уже нет преграды этому желтому типу. И что несет он с собой? Низшие ли это исполнители высшей воли той культуры, которая недоступна им, выродившимся для нее, желтым, вечным рабам новой цивилизации – исполнители на вящую славу прогресса этой культуры, или и сами они способны воспринять эту культуру, или же, наконец, не способные к ней, но устойчивые в своей, они растворят в себе всех, без остатка, как растворили маньчжуров, монголов, корейцев и других?..

В лице китайца, каковым мы видим его теперь, всеми силами своей души, всеми помыслами обращенного назад, к своему Конфуцию, мы, очевидно, не имеем дела с прогрессистом. Но способен ли китаец отрешиться от старины, повернуться и пойти вперед? Кто ответит на этот вопрос в виду имеющегося в лице Японии факта, доказывающего эту способность? И способность выдающуюся, ошеломляющую, к которой только и можно вводить поправки вроде того, что у них денег не хватает, или что японцы только способные обезьяны, но без всякого творчества... Поправки, требующие серьезных доказательств во всяком случае.

В вагоне большое общество: военные, разного рода служащие, искатели счастья, изредка, очень изредка какой-нибудь местный негоциант; отдельный вагон-буфет, в нем все общество и оживленные разговоры о китайцах и японцах, о судьбе Востока. Горячие споры, и каждый говорит свое совершенно особое мнение, только его и считает верным, с презрением выслушивая всякое другое.

Вывод один: вопрос, очевидно, большой и жгучий, имеющий множество сторон, и каждый, видящий свою, говорит об единой открытой истине. И ясно, что изучение всех сторон и связанный с ними общий вывод еще дело большой работы будущего. И если теперь все это – темная бездна, освещенная сальными огарками, десятком-другим поверхностных исследователей, то во времена тех, кому строят здесь памятники, бездна эта и этих освещений не имела.

Но если нет знаний – много апломба, легкомыслия, цинизма, с одной стороны, полного подобострастия и приниженности – с другой.

– Китаец – труп, который и расклюют, кто поспеет...

– Китаец? Один русский на тысячу китайцев – и Китай наш: вот что ваш китаец...

– Я шесть месяцев прожил в Китае... Китаец? Что ему нужно? Третировать его en canaille...⁵ При англичанине китаец не смеет сидеть, не смеет входить в тот вагон, где сидит англичанин, – тогда Китай, действительно, будет наш... А то, помилуйте, безобразие: во Владивостоке извозчик – русский человек – сидит на козлах, а вонючая манза, со своей косой, развалился на его фаэтоне... Позор.

Рядом с такими взглядами говорят:

– Надо проникнуть и понять, что такое китаец... Его коса, халат, бамбуковая трость и другие комичные внешности закрывают пред вами сущность... Китаец – глубокий философ: он смотрит со своей пятитысячелетней точки зрения... И в шестилетнем ребенке вы уже почувствуете эту пятитысячелетнюю мысль... Культурную мысль...

– В чем культура?!

– Как в чем? Решен величайший вопрос прокормления человека на такой пяди земли, на какой у нас собака не прокормится...

– Что такое японец? – несется с другого конца, – японец годен к культуре только в своих условиях, – голый, на берегу моря, где он наловит каждый день на обед себе рыбы, где на шестидесяти квадратных сажен родится сам-шестьсот рис... А русский человек треть своей силы тратит на борьбу только с холодами...

– Вы хотите знать, кто такой японец? Это француз, англичанин и тот выработанный этикетом Востока воспитанный человек, который даже горло вам перережет, улыбаясь, сюсюкая и потирая себе колени...

– Но вашего японца, обезьяну, презирает китаец и основательно говорит, что японец новому миру так же мало дает, как и мало он дал китайской классике... Что японец? Китаец – глубочайший философ, классик... «Пиши от классика»... Наши писаки у них...

⁵ как сброд... (франц.).

И так далее. Всего не передашь.

А в контраст с этим разнообразием мнений нашей интеллигенции здесь простой народ на протяжении от Иркутска до Владивостока точно сговорился в однообразном своем мнении.

– От китайца не стало житья: работает, а что ест? Деньги наши все перетаскает на свою сторону...

Разноречие в отзывах понятно. Простой человек исходит из факта, интеллигент же, как выразился один возвращающийся переселенец по поводу переселенческого дела, – от своего большого ума.

23 августа

Из окна вагона я вижу все ту же долину Уссури, поросшую болотной травой, вижу далекие косогоры, покрытые лесом.

– Хороший лес?

– Лесу здесь нет хорошего и пахоты нет, растительный слой ничтожен, подпочва, видите... да и болотиста...

Резервы, из которых взята земля для железнодорожного полотна, знакомят хорошо с строением почвы – вершка два чернозем, дальше белая глина.

– Год-два – колоссальный урожай девственной почвы, а затем удобрение...

Кругом все так же пустынно и дико, – нет жилья, нет следов хозяйства.

– Да, здесь нет ничего... Верст за триста, не доезжая Владивостока, начнутся поселения, да и там пока плохо...

Относительно сельского хозяйства здесь два диаметрально противоположных мнения. Одни говорят:

– Здесь особенная природа: один год в сажень, полторы вырастет пшеница, и одно зерно в колосе, а на другой год баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или соберут, начнут есть – судороги и все признаки отравления... Так и называются наши пшеницы – пьяные... Вы видите, что здесь природа и сама не выработала еще себе масштаб: о каком серьезном переселении может быть речь... Да надо сперва привезти сюда пятьсот тысяч и все их оставить на этих сельских опытах... Донских казаков, несчастных, переселили... Два года побились: пришли во Владивосток, поселились табором – везите назад... Второй год живут: женщины проституцией занимаются... А там, где как-нибудь устроились, еще хуже: захватили все к речкам, а полугоры и горы, отрезанные от воды, обречены, таким образом, на вечную негодность: участки надо было наделять не вдоль реки, а от реки в горы, – тогда другое и было бы...

– Да там болота...

– Осушите.

– Разве это посильно переселенцу?

– Это работа не переселенца... И без этой работы ни о каком серьезном заселении края речи быть не может...

Рядом с этим:

– Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, сахарные заводы, винокуренные, пивные заводы, табакотводство... Земли сколько угодно...

– На сколько человек?

– По крайней мере на шестьдесят тысяч.

– Что вы? шестьсот тысяч.

– Тысяч сто двадцать, – решает авторитетно третий.

Во всяком случае для прироста стомиллионной России, все эти три цифры, если даже сложить их вместе, не составят особенной находки.

Что касается до того, действительно ли чудные места, лучшие для свеклы, табаку, то, судя по внешнему впечатлению, сопоставляя рядом с этим заявление о невыработанном-де еще и самой природой масштабе, казалось бы следовало усомниться. Но уверяют здесь так энергично...

Положим, здешние обитатели всегда, что бы ни заявляли, заявляют энергично и категорично... Некоторые злые языки говорят, что обитатель здешний попросту любит приврать. Без всякого дурного умысла.

Один в порыве откровенности так аттестовал себя и других:

– Врем; такого вранья, как здесь, не встретите нигде... Это специальное, особенное вранье: род спорта... Мы охотно отдаем залежавшийся хлам приезжему или вымениваем на интересное для нас... А если так, настоящий разговор, так ведь ничего мы в сущности не знаем, потому что едим, пьем – хорошо и едим и пьем – разговариваем, но ничего, кроме получений в разных видах денег от казны, не делаем. Прежде хоть на манз (китайцев) охотились, когда они с наших приисков хищнически возвращались к себе на родину: теперь и это запрещено... Теперь оправдываем хунхузов и ждем, когда благодарный китаец сам придет и окажет: «За то, что ты оправдал меня на суде, я покажу тебе уголь...» А другому покажет золото, а третьего надует: деньги выманит и ничего не покажет.

24 августа

Верст за пятнадцать – двадцать перед Владивостоком железная дорога подходит к бухте и все время уже идет ее заливом. Это громадная бухта, одна из лучших в мире, со всех сторон закрытая, с тремя выходами в океан.

Ничего подобного тому, что произошло в Сант-Яго с испанским флотом, здесь немислимо.

Отрицательной стороной Владивостокского порта являются туманы и замерзаемость порта с конца ноября по март.

Для льда существуют ледоколы; туманы то появляются, то исчезают, и во всяком случае и лед и туманы не являются непреодолимым злом.

Все остальное за Владивостокскую бухту, и принц Генрих, который теперь гостит во Владивостоке, отдавая ей должное, сказал, что порт этот оправдает и в будущем свое название и всегда будет владеть Востоком.

Город открывается не сразу и не лучшей своею частью. Но и в грязных предместьях уже чувствуется что-то большое и сильное. Многоэтажные дома, какие-то заводы или фабрики. Крыши почти сплошь покрыты гофрированным цинковым железом, и это резко отличает город от всех сибирских городов, придавая ему вид иностранного города.

Впечатление это усиливается в центральной части города, где очень много и богатых, и изящных, и массивных, и легких построек. Большинство и здесь принадлежит, конечно, казне, но много и частных зданий... Те же, что и в Благовещенске, фирмы: Кунст и Альберс, Чурин, много китайских, японских магазинов. Здесь за исключением вина на все остальное порто-франко.

На улицах масса китайцев, корейцев, военных и матросов. На рейде белые броненосцы, миноносцы и миноноски. В общем, своеобразное и совершенно новое от всего предыдущего впечатление, и житель Владивостока с гордостью говорит:

– Это уже не Сибирь.

И здесь такая же строительная горячка, как и в Благовещенске, Хабаровске, но в большем масштабе.

Со всех сторон лучшей здешней гостиницы «Тихий океан» строятся дома массой китайцев, и от этого стука работы не спасает ни один номер гостиницы. С первым лучом солнца срывается и стук в комнату, и мало спится и в этом звонком шуме и в этом ярком свете

августовского солнца. Особый свет – чисто осенний, навевающий покой и мир души. Беззаботными туристами мы ходим по городу, знакомимся, едим и пьем, пробуя местные блюда. Громадные, в кисть руки, устрицы, креветки, кеты, скумбрия, синие баклажаны, помидоры – все то, что любит и к чему привык житель юга. Не совсем юг, но ближе к югу, чем к северу.

А вечером, когда яркая луна, как в волнах, ныряя то в темных, то в светлых облаках, сверкает над бухтой, когда огни города и рейда обманчиво раздвигают панораму гор, все кажется большим и грандиозным, сильным и могущественным, таким, каким будет этот начинающий карьеру порт.

Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские, немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы, офицеры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это главная улица города – Светланская; внизу бухта, суда. Садится солнце, и толпы китайцев и корейцев возвращаются с работ.

Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком. Нижний ряд войлока не доходит до носка, и таким образом равновесие получается не совсем устойчивое. Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки, длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не хватает, тот приплетает ленту.

Корейцы – противоположность китайцу: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны: все это, окружающее, его не касается. Он курит свою маленькую трубку, или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет – на голове его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на макушке, так же, как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой. Лицо корейца широкое, желтое, скулы большие, выдающиеся; глаза маленькие, нос картофелькой; жидкая, очень жидкая, в несколько волосков, бородка, такие же усы, почти полное отсутствие бакенбард. Выше среднего роста, широкоплечи, и в своих белых костюмах, с неспешными движениями и добродушным выражением, они очень напоминают тех типичных хохлов, которые попадают впервые в город: за сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх.

Много японок, в их халатах-платьях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках. Упасть с ними легко, чему мы и были свидетелями: японка загляделась, потеряла равновесие и, подгибая колени, полетела на землю. Японки низкорослы, мясисты, с лицом без всякого выражения. Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие, как хвост лошади, волосы.

Китайцы – каменщики, носильщики, прислуга; японцы – мастера. Высший класс китайцев и японцев захватил и здесь торговлю. В руках у русских только извозчий промысел.

Среди японцев множество отставных солдат, резервистов, запасных унтер-офицеров и офицеров.

– Эти желтые люди обладают четвертым измерением: они проходят через нас, а мы не можем...

Это говорит местный житель.

Мы в это время подходим к какой-то запрещенной полосе, и нам говорят:

– Нельзя!

– Секрет от нас, своих, – поясняет местный житель, – а эти, с четвертым измерением, там: каменщик, плотник, слуга, нянька, повар, – они проходят везде, без них нельзя. Они знают все, их здесь в несколько раз больше, чем нас, русских, и среди них мы ходим и живем, как в гипнозе.

Всё здесь, действительно, в руках желтых. Пусть попробует, например, думающий строиться домовладелец выжечь кирпич на своем заводе, а не купить его у китайца. Такого собственного кирпича рабочий китаец изведет хозяину почти вдвое против купленного у китайца.

— Плохой кирпич — бьется.

Если хозяин начнет ругаться, китайцы бросят работу и уйдут, и никто к этому хозяину не придет, пока он не войдет в новое соглашение с их представителем.

Представителем этим называют одного китайца, который искусно руководит здесь всем китайским населением, облагая их всякого рода произвольными, но добровольными поборами. Частью этих поборов он кое с кем делится, часть остается в его широких карманах. Но зато все вопросы, касающиеся правильности паспортов, для китайца не страшны, и свободно процветает азартная игра в китайских притонах.

Терпеливый, трудолюбивый китаец оказывается страстным игроком и зачастую в один вечер проигрывает все накопленное им. Проигрывает с сократовским равнодушием и опять идет работать.

В китайских кварталах грязно, скученно, и в доме, где русских жило бы двести, их живет две тысячи. Такое жилье в буквальном смысле клоака и источник всех болезней.

Теперь свирепствует, например, сильнейшая дизентерия.

Китайцам все равно, играют... каждый притон платит кое-кому за это право по сто рублей в день. Таких три притона, итого сто тысяч в год... Разрешить их официально и улучшить на эти деньги их же часть города: строить гигиеничные дома для них, приучать к чистоте...

Я был в домах, занятых китайцами, задышался от невыносимой вони, видел непередаваемую грязь, видел игорную комнату и грязную, равнодушную толпу у обтянутого холстом стола. При нашем появлении раздался какой-то короткий лозунг, и толпа лениво отошла, и какой-то проницательный китаец с мелкими-мелкими чертами лица подошел к нам и заискивающе объяснял:

— Так это, так, на олехи иглали...

Я познакомился с одним очень интересным жителем.

— Все это на моих глазах, — говорил он, — совершилось уже в каких-нибудь пятнадцать лет, что хозяином стал китаец. Откажись он сегодня от работ, уйди из города, — и мы погибли. Задумай Варфоломеевскую ночь, и никто из нас не останется. Вот как, например, они вытеснили наших огородников: стали продавать даром почти, а когда всех русских вытеснили, теперь берут за арбуз рубль, яблоко семь копеек. А вот как они расправляются с вредными для них людьми. Один из служащих стал противодействовать в чем-то главе здешних китайцев. В результате донос этого главы, что такому-то дана взятка, и в доказательство представляется коммерческая книга одного китайца, где в статье его расходов значится, что такому-то дана им взятка... А на следствии, когда следователь заявил, что этого недостаточно еще для обвинения и нужны свидетели, этих свидетелей была представлена дюжина... Китайцу, когда нужно для его дела, ничего не стоит соврать... Вот вам и китаец... А так, что хотите, с ним делайте... Маньчжуры их били, били, а теперь от маньчжур только и осталось, что династия да несколько городских... Да-с, — мрачно заключает мой знакомый, — мы вот гордимся нашей бескровной победой — взятием Порт-Артура, а не пройдет и полувек. как с такой же бескровной победой поздравит китаец всю Сибирь и дальше...

Поздно уже. Ночь, южная ночь быстро берет остатки дня. Небо на западе в огне, выше дымчатые тучи нависли, а между ними там и сям светятся кусочки безмятежной золотистой лазури.

— Будет ветер.

Ночь настоящая южная: живая, тревожная, темная и теплая.

Множество огней, и сильнее движение по Светланской улице. Едут торопливо экипажи, снуют пешеходы, из окон магазинов свет снопами падает на темную улицу. Темно, пока не взойдет луна. Кажется, провалилось вдруг все в какую-то темную бездну, в которой снизу и сверху мигают огоньки. Там, внизу, море, там, вверху, небо, но где же эти огоньки? Между небом и землей? Да, там: они горят на высоких мачтах белых, не видных теперь броненосцев. Там между ними теперь и германских три судна. Принц Генрих угощает гостей обедом, и лихо пьют, говорят за его столом и хозяева и гости.

Принц, кажется, хочет ехать до Благовещенска.

Одного из адъютантов наших, приставленных к нему, он спросил:

– Стоит ли ехать в Благовещенск?

Адъютант замялся: сказать «не стоит» казалось ему неловко как представителю своей страны, с другой стороны, и соврать не хотелось.

– Жители Благовещенска будут счастливы видеть ваше высочество.

– Ну, я не для громких китайских фраз приехал сюда.

Принц любит немецкий язык и настоятельно требует употребления его в разговоре с ним не только от мужчин, но и от дам. Передают, что на благотворительном гулянье здесь, на предложение на французском языке одной красивой продавщицы шампанского, он сказал:

– Сейчас я не буду пить, но вечером у вас в доме выпью, если вы будете говорить со мной по-немецки.

– Но я говорю совсем плохо.

– У вас есть время выучить.

Было четыре часа дня.

Дама покраснела, подумала и тихо ответила:

– Я выучу...

– Но принц шутит, – по-русски резко проговорила одна из более старших дам своей растерявшейся подруге.

– Но и madame шутит, – отвечал принц на этот раз тоже по-русски, – в несколько часов нельзя выучить язык.

Кстати, о благотворительном гулянье. Это благотворительное гулянье устраивается ежегодно и дает до десяти тысяч чистого сбора. Оно продолжается весь день. Публика, по преимуществу, китайцы. Они страшно раскупают билеты аллегри, кричат от удовольствия, глядя на японский фейерверк, и, когда из лопнувшей в небе ракеты вылетает то бумажный китаец, то бумажный корабль, они как дети бегут к тому месту, куда он должен спуститься. Надутый бумажный пузырь, искусно изображающий нарядного китайца, не спеша спускается, а толпа жадно вытянула руки, весело хохочет, кричит и ждет не дождется, когда опустится фигура настолько, чтоб схватить ее сразу всем.

Еще пример китайской азартности: торги.

На всякие торги китайцы жадно стремятся, набивают цены, и на этот раз даже не помогает во всех остальных отношениях строгая, выдержанная, корпоративная организация.

30 августа

Все эти дни прошли в окончательных приготовлениях: покупаем провизию, разные дорожные вещи.

В свободное же от покупок время знакомимся с местным обществом, и жизнь его, как в панораме, проходит перед нами. Один драматический и опереточный театр действует, лихо-радочно достраивается другой – там будут петь малороссы; работает цирк.

Мы были и в театре и в цирке. Что сказать о них? Силы в общем слабые, но есть и таланты. В общем же житье артиста здесь сравнительно с Россией более сносное, и здешняя публика относится к ним хорошо. Хорошо относится и печать.

Первого сентября выходит еще одна, новая, третья газета здесь. Дело издания в руках бывшего политического ссыльного, с которым я познакомился у бывшего его тюремного начальства на Сахалине.

Это был интересный обед, с разговорами о Кеннане и всем пережитом.

Один горячо настаивал на том, что все дело было сильно раздуто, другие, напротив, доказывали, что раздутого ничего не было. Я лично склонялся к доводам последних, так как у первых было больше азарта в нападении, чем фактов...

Речь заходит о побывавших здесь литераторах: Чехове, Дедлове, Сигме, Дорошевиче.

– Да что литераторы, – говорит хозяин дома, – это в прежнее время было что-то особенное, а теперь? Из всех сидящих здесь кто не литератор? Каждый из нас пишет в газетах – я, он, они, в столичных... Все умеем и мысли свои высказать, и литературно изложить их, и... приврать.

– Кстати, проверить один факт, – говорю я, – про одну даму на Сахалине, которая будто бы секла заключенных.

– Кто такая?

Я называю фамилию и говорю, что она жаловалась мне на пароходе на то, что на нее так жестоко наклеветал Чехов.

– Сечь она не секла, но по лицам била сапожников, портных...

Со всех сторон следуют энергичные подтверждения. На этот раз кажется все настолько достоверным, что я решаюсь этот факт занести в свой дневник и тем восстановить репутацию своего коллеги.

Может быть, в свое время она так же горько будет жаловаться кому-нибудь и на меня. Но при чем я тут? И если говорят все, что дама эта действительно была нехорошая, злая дама, злоупотреблявшая своим, и даже не своим, а положением своего мужа, то пусть и знает эта дама, что все, конечно, можно сделать: и злоупотребить своим положением и не стесняться своим человеческим долгом, но потом для всякого наступает история, которая и клеймит каждого его клеймом.

Я не называю имени этой дамы потому, что имя это – звук пустой для всего русского общества, а для ее общества достаточно и сказанного, чтобы безошибочно узнать, о ком речь идет.

Вечером я ужинал с несколькими из здешних обитателей, а после ужина один из них позвал меня прокатиться с ним по городу и его окрестностям.

Это была прекрасная прогулка. Мой собеседник, живой и наблюдательный, говорил обо всем, с завидной меткостью определяя современное положение дел края.

– Вот это темное здание – военного ведомства, а напротив, вот это, морское: они враги... Они только и заняты тем, как бы подставить друг другу ножку. Это сознают и моряки и сухопутные... И случись осложнение здесь, мобилизация там, что ли, если не будет какой-нибудь объединяющей власти... А вот ведомство путей сообщения и контроля: опять на ножах. Опять постановка вроде того, что кто зеленый кант носит, тот мошенник, кто синий надел, тот непременно честный: я так, а я так, а в результате, что стоит рубль, обходится в сотни. Терпит казна...

– Это не только в Сибири.

– Знаю... И средство от всего этого и там одно: объединенные министерства с министром – ответственным главой.

– Скажите мне откровенно: что представляет из себя собственно ваш край? Способен он к самостоятельной культуре или вечно так будет, что, сколько Россия приплатит здесь, столько за исключением жалования остальное унесут китайцы?

– С какой стороны, – раздумчиво начал мой собеседник, – взять вопрос. Во всем этом крае прежде всего что-то роковое и такое же неизбежное, как роды, что ли... Пришло время,

и взяли Порт-Артур, хотя отплевываются и отплевывались от него все... Но все-таки край мог бы быть несомненно не той пиявкой, какой он является теперь для остальной России... с нашествием сюда китайцев, то есть рабочих рук, одна сторона таким образом решается, но другая сторона остается открытой: у нас денег нет... Надеялись мы на Русско-Китайский банк, но... банк в коммерческом отношении стоит очень хорошо. Но предприятия, которые могли бы здесь развиваться, не создаются: деньги дают на краткосрочный кредит... на несколько месяцев... на такой кредит предприятия не создашь и с таким кредитом только запутаешься... А дела много, но и денег надо много... Это не Россия: здесь для дела надо весь капитал сполна, и если хоть десятой части его не хватает, то дело будет сорвано: кредита нет... Совершенно нет... А есть и золото, и каменный уголь, и руды: свинцовая, железная, соль каменная есть. Можно и сельскохозяйственную культуру вести: и скот, и сахар, и табак, и пиво пойдет... Да как не пойти? Вы посмотрите, какие цены: бутылка пива рубль, фунт сахару двадцать пять копеек, хлеб, мясо... На все ведь безумные цены... Лес... Но вот лес наш: при разработке в один год с ним не повернешься, а таких здесь, которые могли бы затратить капитал на два года – нет... Возьмите другое громадное дело – рыба... Ведь такого изобилия рыбы нет на остальном побережье земного шара. Три осенних месяца, когда идет кета, чтоб метать свою икру в Амур, ее столько, что руками можно ловить. А ведь это та же лососина... За ней стадами плывут акулы, кашалоты... Два года тому назад убили в бухте кита... В ловушке рыбы обходится копейка... Но для организации сбыта нужны пароходы-ледники, во всех европейских центрах склады-ледники... Солить рыбу? нужна соль, а ее нет: немецкая соль у нас стоит семьдесят копеек, с Сахалина пятьдесят, но и не годится, и оба эти сорта соли не годятся, – они получаются вываркой, а следовательно в них и йод и натр, и все это дает негодный для продажи товар... Нужна комовая соль... Японцы здесь вертятся, но народ безденежный... Все, на что хватает их, – это удобрительными туками увозить эту рыбу к себе... Миллиона два пудов вывозят... Иностранные капиталы сюда бы... Но не идут в такие сложные дела...

– Почему?

– Положение неопределенное – боятся произвола, взяточничества...

1 сентября

Сегодня вышел первый номер новой, здесь третьей газеты – «Восточный вестник». Редакция газеты, очевидно, чистоплотная. Лучшая будущность – пятьсот подписчиков, и следовательно людей собрала к этому делу не его денежная сторона.

Сегодня вечер я провел в их кружке, и вечер этот был один из лучших здесь проведенных вечеров.

Хозяйка дома, госпожа М., она же секретарь редакции, из числа тех беззаветных, которые своей любовью к делу, любовью особенной, как только женщины умеют любить дело, перенося на него всю ласку и нежность женской натуры, – греют и светят, вносят уютность, вкус, энергию...

Выхлопотать разрешение, получить вовремя случайно запоздавшую телеграмму и таким образом прибавить интерес номеру, не спать ночь, чтобы номер вышел вовремя, выправлять корректуру и огорчаться от всего сердца, если какая-нибудь буква выскочила-таки вверх ногами, – вот на что проходят незаметно дни, годы, вся жизнь...

2 сентября

Сегодня вечер в морском собрании в честь принца Генриха. Мужской элемент представлен на вечере и в количественном и в качественном отношении эффектно. Большинство военных, всех сортов оружия. Из штатских налицо вся колония немцев. Налицо и весь деловой мир города. Большинство – это люди, своими руками сделавшие себе свое состояние.

Многим из них пришлось начинать снова в жизни, после выслуженной каторги, ссылки. Но здесь, на крайнем Востоке, мало обращают внимания на прошлое, руководствуясь немецкой поговоркой: за то, что было, еврей ничего не даст: важно то, что есть.

Зато дам мало, молодых и того меньше, барышень и совсем наперечет. Костюмов особых не было. Выдавалась одна жившая очень долго в Париже и, очевидно, прекрасно усвоившая все приемы великих франтих Парижа. Костюм ее бледных тонов, с нежно-лиловыми цветами, низенький корсет, лиф, схваченный на оголенных плечах маленькими бархатками, вся фигура изящная и в то же время декадентски небрежная, несколько дорогих камней, небрежно брошенных по костюму, делали ее на мой по крайней мере взгляд и взгляд моих знакомых царицей вечера.

В ее движениях, манерах – свобода парижанки, к которой, очевидно, плохо привыкает местное общество.

На первых порах, говорят, ей особенно трудно пришлось здесь; но затем все вошло в колею. Много помогло то обстоятельство, что виновница толков мало обращала на них внимания и, молодая, изящная, с оригинальной, хотя, может быть, и некрасивой наружностью, окружила себя блестящей молодежью морских офицеров.

Это ее штат, и за ужином симпатичные хозяева вечера в значительном числе откочевали за ней наверх, оставив своих гостей-немцев на попечение своих старших членов да сухопутных представителей наших войск.

Один из немецких гостей сидел и за нашим столом. Он хорошо говорил по-немецки, но ни на каких других языках не говорил, в то время как кругом его русские офицеры бойко перебрасывались на французском, английском и немецком языках. Не удалось немецкого гостя вызвать и на более широкую тему в разговоре: все сводилось к его кораблю, его форме и ближайшим поездкам. Зато уверенность и снисходительность этой боевой единицы были поистине завидны. Очевидно, всех нас он считал чем-то неизмеримо ниже его стоящим. Все это чувствовали и с добродушием русских относились к своему гостю, усердно подливая ему шампанское.

Когда коснулись китайского и японского вопросов, гость-немец категорически заявил, что и тех и других надо так держать. Он при этом показал на свой кулак и наивно улыбнулся. Поддержку он нашел в одном господине, который взялся, очевидно, научно обосновать этот вопрос. Он заговорил о желтой расе, о том, что, как известно, раса эта имеет совершенно отличную от нас культуру, и затем искусно перешел к немецкому, русскому и английскому кулакам, так же необходимым-де желтой расе, как воздух, пища, сон. Немец улыбался, кивал ему головой и постоянно чокался с ним. И так как задача и заключалась в том, чтобы гость-немец пил, то господин и заслужил в конце концов признательность хозяев. Я уехал сейчас после ужина, но до шести часов утра ублажали моряки своих гостей. Многие из хозяев не выдержали этого винного боя, тогда как немцы, выпив неимоверное количество вина, все-таки на своих собственных ногах дошли до извозчика.

– О, дьяволы, как здоровы они пить, – говорили на другой день, – нет возможности спить их.

Впрочем, отдавая должное, и между нашими были молодцы в этом отношении.

3 сентября

Возвратился с вечера в час ночи, а в семь часов утра пароход, на котором я уезжал из Владивостока, уже выходил из бухты в открытый океан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.